ПЕРЬЯ ЖАР-ПТИЦЫ







ПЕРЬЯ ЖАР-ПТИЦЫ

Рассказы о природе

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1978

С62
П27

П $\frac{70803-079}{М158(03)-78}$

К ЧИТАТЕЛЮ

Вряд ли найдется человек, который бы не любил походы, поездки за город, в лес, к реке. И чем дальше, глубже уходишь в зеленый, свежий мир, тем свободнее дышится, яснее думается. Полный неосознанной радости, ты вдруг остановишься, оглядишься и — вдохнешь полной грудью, или улыбнешься широко, весело, или запоешь, или побежишь по тропинке — просто так... Тебе вдруг стало очень хорошо. Хорошо — и все. Силы прибавилось, заботы куда-то ушли, хочется чего-то необыкновенного.

Такова волшебная сила природы!

В лесу, в поле, у реки — везде можно отлично отдохнуть, зарядиться бодростью на всю будущую трудовую или учебную неделю.

На здоровье!

Только умеем ли мы быть благодарными за эту радость? Ценить эту красоту не только глазами, но и сердцем своим, душой?

Грустно и стыдно порой смотреть на пригородные «зоны отдыха» после воскресного набега горожан. Именно — набега.

Кое-как загашены костры, а в кострище — кучи недожженного мусора. Подчас там, в кострище,— и бутылки, и банки консервные, которые, как известно, сжечь невозможно. Зачем же их кидать в костер? На многих полянах обломлены верхушки молоденьких березок и елок — нужны были колья, чтобы поставить палатку. Да и в костер немало брошено того, что могло быть в будущем красивой рощей.

Не успеет лес хоть как-то опомниться от разбоя, а очередн новое воскресенье или отпускной вояж «диких» туристов...

Есть и укоренившийся скверный обычай — приносить из лесу живой «сувенир»: белку, ежа, птенца и другую живность, которую неизвестно как кормить, содержать. Животное, как правило, гибнет. Радость оборачивается трагедией. А бывает, все обходится без слез: выкидывают погибшего зверька в мусорное ведро, будто сломанную игрушку, и тут же о нем забывают. Или выгоняют из дому, за ненадобностью, подросшего щенка или котенка...

Человек волен делать с природой все, и это налагает на него огромную ответственность. С другой стороны, человек зависит от состояния природы. Об этом нужно помнить. Не только физически, но и нравственно зависит. Лесное пепелище надолго лишает человека чистого воздуха, угнетающе действует на сознание: от места, где выгорел лес, хочется бежать без оглядки. Человека нормального, обыкновенного травмирует вид сломанного дерева, разоренного гнезда. Обидевший беззащитного, слабого, бесцельно сгубивший зверя, птицу считается, должен считаться подлецом. Человек обязан быть добрым к природе.

Может быть, страницы этой книги заставят кого-нибудь задуматься, по-другому взглянуть на зеленый мир, на озерную гладь, на стройный клин летящих птиц и на маленького щенка, котенка, трущихся у его ног.

Кто-то, прежде чем завести аквариум или клетку, подумает, в силах ли он сделать все, чтобы животное в его доме не погибло. А шагнув под свежий шатер утреннего леса, иной подумает и о том, чтобы не испортить той красоты, которую подарил ему лес, пусть и другим эта красота останется.

Именно с такой верой в читателя и написана эта книга.



Евгений Бородин

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ

В одном из сибирских сел, что шумит зелеными тополями, поведали мне эту историю.

Кто и когда посадил тополь на берегу тихой, задумчивой реки? А может быть, он сам вырос от залетного семечка? Никто этого не знал. Когда сюда пришли люди из далекой безлесной и малоземельной стороны, он уже весело играл своей пышной листвой и пел призывные, полные томления песни.

Жил он бобылем, один-одинешенек. Люди сразу полюбили его и доверяли ему все свои тайны. И он был добр к людям. Не мешал им нежиться в своей тени, распевать песни и объясняться в любви.

Село разрасталось, теснило глухой лес. Но на лужайке у речки, где стоял тополь, никто не строился. Берегли это место как память о былом, самом сокровенном.

Село было голое, без единого деревца. Знать, нужды в том не видели люди или было им просто недосуг украшать его зеленью.

Однажды весной налетел на село ураган. Заметался по темным улицам: ронял заборы, бился и выл в застрехах, гудел в печных трубах. Старый тополь стонал под ударами ветра. Стонал всю ночь, будто просил кого-то прийти на помощь и отогнать злодея. Но никто не мог отвести беду. И он упал со страшным грохотом — так, что дрогнули стены домов, звякнули стекла в окнах.

Под утро ураган, сделав свое черное дело, ушел из

этих мест. Занялось яркое солнце, и люди высыпали на улицу. Не сговариваясь друг с другом, шли к реке — туда, где, распластавшись, лежал тополь. И долго стояли над поверженным великаном, строгие и молчаливые. Кто-то тихо тогда сказал: «Он должен жить... Он заслужил это». Все одобрительно закивали головами. Принесли топоры и пилы, дружно взялись за дело. Каждый взял по нескольку ветвей и посадил их возле своего дома. Но веток оказалось так много, что можно было обсадить и два таких села. Куда деть остальное? Не сжигать же. И опять кто-то сказал: «Посадим у реки тополевый парк». И посадили люди все ветви старого тополя, ни одной не бросили.

Прошли годы. Не узнать сибирского села. Утонуло оно в буйной зелени молодых тополей. Кто бы ни проехал по селу, все радуются и хвалят его жителей. А послушайте, какие песни раздаются у реки по вечерам в молодом парке. Такие же, какие слушал и старый тополь.



Александр Дягилев

ТОЖЕ ОХОТА

Холмы. Совсем зеленые сосновые рощи. Светлые опушки. Но осень неумолимо красит золотой кистью березовые перелески, лесные поляны и луга. Белесое пасмурное небо. Холодный ветер рвет с осин листья, и медными пятаками усыпают они увядшую траву.

Среди мелкого сосняка неторопливыми зигзагами движется высокий мужчина в синем плаще, черной фуражке и резиновых сапогах. Он внимательно посмат-

ривает вокруг, наклоняется раз, другой... и что-то кладет в плетеную корзину. Что же? Да самые обыкновенные грибы.

Многие из нас уже забыли о свежих грибах, и если ведут разговор, то больше о соленых. А этот любитель-грибник знает, что грибы можно собирать, пока не замерзнет земля. Их почти не найдешь сейчас в большом лесу, но в молодых сосняках и на светлых лесных опушках еще растут коричневые маслята, красные рыжики, светло-желтые с рябинкой опята.

Грибов негусто. И прячутся они умело. Особенно рыжики. Хотя не любит рыжик высокой травы, но и в короткой замаскируется так, что пройдешь рядом и не заметишь. Особенно молодой, иногда и краешка «уха» не покажет. Но выдают их рыжики-старики. Жизнь грибная коротка. И захочет такой старикан на белый свет поглядеть и себя показать, раздвинет своим полосатым оранжевым зонтиком траву: смотрите, какой красавец! И попал на глаза грибнику. А тот внимательно осмотрит все кругом, и затаившиеся в траве и сосновых иглах рыжики-детки тоже окажутся в тесной корзинке.

Маслята — те не так хитры. Но и они стараются перекрашивать свои шляпки под окружающие цвета. Да разве успеешь — так быстро меняются кругом осенние расцветки: то зеленые, то рубиновые, то темно-желтые, то бурые. Да и надоест наконец! И светло-желтые с бурой верхушкой и черной каемкой пожилые маслюки важно возносятся над мелкой травой. Но не кланяется им знающий грибник. Пустой поклон — они червивы.

А опята — святая простота! Навалятся на лесной пенек или корень целой ватагой, прижмутся друг к другу. Так, видимо, им теплее и веселей. Но у нас это любительские грибы, не всякий на них обращает внимание.

Уже не раз летели белые мухи. Осенний воздух холоден и свеж, как чистая вода лесного родника. Узкие лесные дорожки стали шире, покрылись светло-бурым паркетом лиственничных и сосновых игл, шуршащими ворохами опавших листьев. Зима уже не за горами. Грибов, конечно, маловато. Но интересно просто так побродить на досуге по нарядному осеннему лесу, и приятно, когда потом в городском автобусе с любопытством обратят внимание на человека с корзинкой и, заглянув, определят ее содержимое вкусным русским словом: «на жареху».



Светлана Марченко

ПЕРЬЯ ЖАР-ПТИЦЫ

С вечера уложен рюкзак. В нем наш всегдашний спутник — несколько раз ремонтированный фотоаппарат «Киев» с двумя цветными пленками: для слайдов, несколько коробочек — для «лесных чудес» (вдруг найдем редкого жука или необычную шишку), полиэтиленовый мешок, два острых ножа, карандаши, бумага, спички, ну и маленькая аптечка — в лесу надо быть во всеоружии. Рядом с рюкзаком сумка с провизией и полиэтиленовое ведро. Утром мы едем с первой электричкой.

Нас четверо: Ася, Алеша и мы — папа и мама. Мы все любим лес. Для каждого времени года у нас давно уже определены названия лесных походов. Летом, например, мы идем «искать белку». Зимой — «в гости к Снегурочке». Осенью — «за диковинками».

А нынче на станции Аять мы нашли такое в осен-

нем лесу, что теперь называем этот поход по-другому — «за жар-птицей».

День был не хмурый, не солнечный. Какой-то перламутровый, что ли... Тихо, прозрачно... Оттого, что многие деревья уже сбросили листву, в лесу особая, «сквозниковая» просторность. Студено так, и все открыто, с едва уловимым постоянным движением воздуха, с редким, медленным дыханием ветра. Трепетно и безмолвно. И немного зябко...

Сначала мы ищем самую красивую, «богатую» поляну, с которой можно начинать поиски «сокровищ».

Переход, еще переход, преодолеваем валежник...

И вот мы уже стоим словно в середине большого костра. Ровного, яркого, устремленного прямо в синее небо. Там, в небе, над вершинами, как дымок, летят легкие облака. На ветру искорками трепещут листья осин и берез. И — запах. Неповторимый запах осеннего леса. Терпкий, влажный, густой.

— Яблоками мочеными пахнет! — говорит Алеша.

Пожалуй, он прав.

Доверчивая открытость леса с ее светлой грустинкой настраивает нас на задумчиво-торжественный лад. Голоса у всех тихие, шаг мягкий и неторопливый. А глаза с любопытным ожиданием обшаривают все вокруг. Вот сейчас, сейчас мы можем найти чудо — необычной расцветки лист, причудливо изогнутый сучок...

Будто сговорившись, мы не произносим этих обыкновенных слов: листок, сучок, корень. Нет, наши находки—это уже «медали», «лосиные рога», «ящерица», «чертик». Все это укладывается в рюкзак, все это поедет домой.

Посветлела и прояснилась даль, и оттого каждый ствол и ветка стали выпукло-четкими, одна поляна красивее другой! Но мы уже «отщелкали» одну пленку и теперь берегли кадры.

Идем через просеку к опушке. И вдруг вдали, на пологом пригорке, у старого длинного пня... Нет! Мы даже замерли от неожиданности: чуть трепеща тонкими перьями, плавно колыхаясь, словно готовая взлететь, сияла перед нами диковинная птица...

Первой ее заметила Ася. Подбежали ближе.

— Вот это рябина! — сказали мы хором.

Невысокий и раскидистый куст, защищенный старыми стволами, еще совсем не собирался облетать. Листья — зеленые, желтые, с нежным багрянцем — легкими перьями овевали тяжелые гроздья ягод. А снизу, переплетаясь с ветвями рябины, веером вставали бронзовые ветки с лилово-коричневыми листьями. Это старый пень, к которому приникла рябина, дал побеги...

Мы долго стояли молча, будто слушали сказку.

Кто знает? Может, вот такое осеннее диво и принимали люди издали за жар-птицу. А пока бежали, чудо исчезало: по-другому падал свет, и уже не было того буйного цветения красок!..

Далекое, холодное солнце как-то снизу, из-за холма, высвечивало опушку, и каждый лист был хорошо виден. Мы смотрели, затаив дыхание, боясь какой-нибудь перемены, словно, и правда, птица могла улететь.

Да, надо было спешить, свет в осеннем лесу непостоянен, недолог... И вся вторая наша пленка пошла на жар-птицу: обсмотрели, «обсняли» мы ее со всех сторон. И неуловимо с каждой минутою меркло сияние поляны.

...Электричка подошла к станции одновременно с нами. А когда поезд гладко покатил, мы, притулившись на чьих-то тюках, стали рассматривать пассажиров.

Все говорили о своих делах. Крупный старик поучал соседей, как и когда лучше всего мариновать

грузди. Женщина в синем платке, рассеянно болтая с мальчиком, то и дело пересчитывала узелки и свертки в двух своих сетках — «не забыла ли чего?». Ехали веселые парни. Собираясь запеть, они наперебой выкрикивали названия песен и никак не могли выбрать. И в ожидании гитара мурлыкала что-то неопределенное, а гитарист улыбался чему-то своему и терпеливо перебирал струны.

Словом, пассажиры были самые обычные для воскресной электрички.

И нас, наверное, тоже все принимали за самых обыкновенных, чуть усталых пассажиров.

А мы никак не могли забыть о том, что сегодня нам удалось «изловить» такую красоту, и молча улыбались друг другу и переглядывались как заговорщики.



Владимир Самсонов

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

Ночью, когда уставшие за день ракетчики уже спали крепким сном, белобрысый паренек на крайней койке тихо спросил соседа:

— Спишь?

— Нет...

— Пойдем?

— Угу...

Молча сунули голые ноги в сапоги, набросили на плечи шинели и, стараясь не стучать каблуками, вышли на улицу.

Дневальный оторвался от книги, мельком взглянул на ребят и опять принялся за чтение.

Прошло минут двадцать. Солдаты не возвращались.

«Пора бы...» — подумал дневальный.

Когда и через полчаса они не вернулись, он доложил дежурному.

Дежурный — сержант Обуховский — вышел на крыльцо.

«Странно... Куда бы это они могли запропаститься?»

Прямо перед казармой в слабом лунном свете стоял в кипени вишневый сад, и сержанту вдруг показалось, что это за ночь выпал снег и покрыл хлопьями деревья.

Когда-то этот сад посадили сами солдаты на ленинском субботнике. И вот уже несколько лет вишни плодоносили.

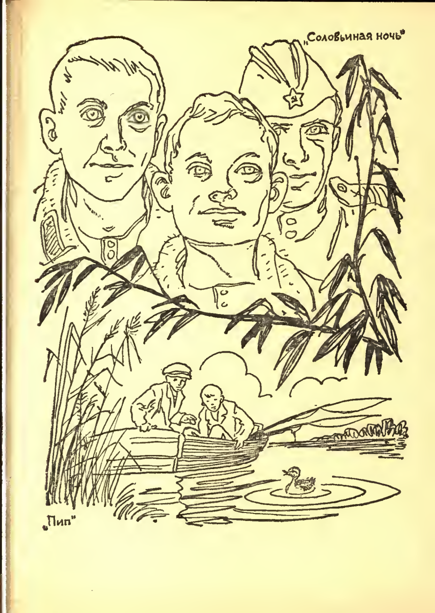
Ракетчики любовно ухаживали за садом. Строго следили, чтобы никто не рвал плоды, а когда вишни созревали, всем миром собирали богатый урожай, и потом всю зиму на солдатском столе был ароматный вишневый компот.

Слева, метрах в ста от казармы, начиналась дубовая роща. Сейчас она стояла загадочная. Сержанту показалось, что в рощице мелькнул красный огонек сигареты.

«Ну, погодите, голубчики», — сердито подумал он и направился к роще.

Он шел по еле угадываемой в легком тумане тропинке, вьющейся в густом орешнике оврага, который проходил через рощу. Чуть левее, на самом дне оврага, журчал ручей, заросший лозняком и черемуховыми кустами.

И вдруг: «Щелк! Щелк!» Сержант остановился. На другой стороне ручья запел соловей. Чистая трель раскатилась и тут же стихла. Соловей, видимо, прислушивался к шороху, но через минуту, забывшись,


„Соловьиная ночь"
„Пип"

пустил новое колено: «тю-лит, тю-лит, пью, пью, пью», а затем изо всей силы ударил: «фи-тчурр, фи-тчурр, пи-фа, пи-фа, чочочочочо-вит».

Сержант стоял как завороженный. Он хотел было идти дальше, но здесь откликнулся второй соловей. Он запел где-то неподалеку. Наверное, подруга второго майского певца шепнула своему: «Не уступай...» И вызов был принят.

Сержант сделал несколько шагов и чуть не наступил на ноги солдатам. Они сидели под ореховым кустом, привалившись друг к другу плечами, и слушали.

— Вот вы где, голубчики...— начал дежурный.

— Тс-с,— прижал палец к губам один из солдат.

В это время завязался соловьиный поединок.

Как они пели!

Сержант присел рядом с солдатами. Они послушали соловьиный концерт еще несколько минут и молча побрели к городку. Завтра их ожидал новый нелегкий солдатский день. А пока они неслышно шли по краю оврага. Тропинка поднималась вверх, и, когда они вышли из рощи, на небе торчал рог полумесяца, тускло освещая покрытый кипенью цветущий вишневый сад.

А там, внизу, в овраге, соловьи входили в азарт. Вот первый пустил «пеночку», вывел «флейту», а потом рассыпался «горошком» и «бисером» и смолк. Второй отвечал ему. Откуда-то появился третий, четвертый...

Звенел овраг от соловьиного пения, и солдаты были счастливы, что эта чудесная весенняя ночь выпала на их долю.



Владимир Самсонов

СТРЕЛЯНЫЕ ВОРОБЬИ

Удирая от рыжего кота, оставив ему только несколько перышек от хвоста, воробей стукнулся о перекладину, выпорхнул в разбитое чердачное оконце и, пролетев несколько метров, упал. Тут ему и конец пришел бы, но теплые руки подняли и внесли его в комнату.

Неделю прожил воробей, прозванный Прошкой, у капитана Карасева, пока не окреп, затем тот выпустил его на волю.

Но воробей хорошо запомнил окно.

Первого января Прошка явился пораньше, сел на открытую форточку и громко зачирикал:

— Чик-чирик! Чик-чирик! — На воробьином языке это, наверное, означало: — Доброе утро! С Новым годом!

— А, Прошка! Залетай, дружище! — поднял голову с подушки капитан.— С Новым годом! Угощение твое на столе.

Прошка полетел на кухню завтракать.

Через несколько минут послышались звонкие удары клюва по алюминиевой тарелке. Прошка угощался раскрошенным пирожным и овсяной крупой, припасенными с вечера заботливым другом.

— Чик-чик-чирик! — поблагодарил воробей.— Славно позавтракал.

Прошка уселся на крышку радиолы и стал легонько стучать по ней клювом. Он соскучился по музыке, тем более день-то необычный, праздничный.

Капитан поздно вернулся с новогоднего вечера, ему

хотелось спать, но нельзя обижать и приятеля. Карасев включил радиолу.

Песня кончилась, и капитан выключил приемник. Прошке показалось этого мало, и он снова застучал клювом по крышке.

— Хватит, дружок,— сказал капитан.— Лучше спой что-нибудь сам.

Прошка сел на протянутую руку и звонко зачирикал.

— А теперь гуляй, спать хочется,— Карасев повернулся на другой бок, давая этим понять, что гостю пора и честь знать.

Воробей попрыгал по крышке приемника, покачался на люстре и вылетел на улицу.

Весной у Прошки появилась подруга — воробьиха Чика. Вдвоем они долго сновали по ракетной позиции в поисках удобного места для гнезда.

Чика оказалась привередливой. Прошка предлагал ей густой разросшийся куст, уголок под крышей склада, невысокую березку, но подруга все браковала.

— Ни-чив-чиво не можешь,— заявила она и сама взялась за дело.

И нашла-таки место для гнезда в... выхлопной трубе дизеля электростанции. Чика влетела в нее, здорово перемазалась в саже, но осталась довольна своим выбором.

— Чув-чу-десно!

И стали воробьи таскать в трубу былинки, пушинки, соломку. Но их работу прервали.

Как ни жалко было мотористу Михаилу Рогову нарушать семейные планы воробьев, он вынужден был это сделать. С треском заработал мощный дизель. Моторист сразу же заглушил мотор и выглянул на улицу. Упругим выхлопом газов воробьев выбросило из трубы. Прошка сердито зачирикал:

— Чи-то, чи-то за безобразие?!

— Не сердись,— ласково сказал ему солдат.— Ничего не поделаешь, боевая готовность.

Но воробьи и не думали отступать. Через некоторое время Чика и Прошка снова стали носить в трубу строительный материал.

— Ну и упрямые пичуги! — покачал головой Рогов и второй раз стал готовить агрегат к запуску. И снова выхлоп дизеля выдул Чику и Прошку из трубы.

Тяжба с упрямыми воробьями продолжалась до тех пор, пока Рогов временно не прикрыл трубу.

Прошка и Чика что-то сердито прочирикали улыбающемуся солдату и улетели на полигон к кирпичному домику командного пункта.

Отсюда руководят боевыми стрельбами. На окнах крест-накрест наклеены бумажные полоски, чтобы стекла не лопнули от могучей воздушной волны стартующих ракет. Под самой крышей, со стороны огневой позиции, Прошка предложил Чике место для гнезда.

— Ни-чив-чиво не поделаешь,— согласилась она.

Здесь и увидел своего приятеля капитан Карасев.

— Отчаянный ты, дружище,— сказал он ему.— Ишь где устроился!

В середине лета у воробьев появились птенцы.

Укрепленный на коньке крыши металлический динамик, под которым находилось гнездо, скомандовал:

— Всем покинуть огневую позицию!

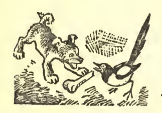
Свободные от стрельбы бойцы поспешили к домику. Несколько молодых солдат прислонились к стенам, с волнением ожидая первого в их жизни пуска ракеты.

Прошка устроился на краю балки и спокойно стал чистить клювом перышки. Рядом к гнезду присела Чика с червяком в клюве, чтобы покормить уже оперившихся птенцов.

Грохот стартующей ракеты, яркая вспышка огня заставили молодых ракетчиков вздрогнуть и зажмуриться. Казалось, стены домика качнулись, звякнули стекла в окнах.

Капитан Карасев молча указал рукой на крышу. Солдаты повернули головы и невольно улыбнулись. Прошка как ни в чем не бывало продолжал чистить перышки, а Чика невозмутимо совала червяка в желтый клюв птенца.

— Стреляные воробьи! — засмеялся капитан Карасев.



Владимир Самсонов

ТИШКА И СОРОКА

По соседству с приземистыми каменными домиками военного городка — несколько тополей. На развилке одного из деревьев — большое лохматое гнездо. Чуть выше, на ветке, раскачивается его хозяйка — белобокая сорока. Когда она соорудила это жилище, никто не помнит. С тех пор не одно сорочье поколение выросло в нем.

Ракетчики рады такому соседству и никогда не обижают пернатых соседей. А вот у неуклюжего щенка Тишки — любимца прапорщика Полякова — есть основания быть недовольным. Однажды жена прапорщика постирала белье, развесила его, а сама пошла на работу. Вечером пришла домой, а белья нет.

«Наверное, кто-нибудь из соседей снял,— подумала женщина.— Надо посмотреть дома». Но и там белья

не оказалось. Куда же подевалось? Нашли его в будке у Тишки. Днем поднялся ветер, он-то и сбросил белье на землю. А тут откуда ни возьмись появилась сорока. Уж очень ей понравился цветастый платочек. Она приноравливалась, как бы половчее унести его в свое гнездо, когда Тишка разгадал ее замысел. Он перетаскал все белье в будку и улегся на него. Щенка в благодарность наградили костью. Тут опять появилась сорока. Села на будку. Пес на нее никакого внимания. Тогда сорока осмелела и, клюнув Тишку в хвост, отскочила. Щенок продолжал грызть кость. Когда сорока стала назойливей — сердито тявкнул.

Сорока рассердилась. Она внезапно вцепилась в собачий хвост когтями и клювом. Тишка с визгом закружился на месте, а потом бросился наутек в будку. Сорока кинулась к добыче. Повертела кость, повертела, а унести так и не смогла.

— Ни себе, ни собаке,— засмеялся прапорщик, наблюдавший из окна дома за этой сценкой, но вмешиваться не стал. «Разберутся сами»,— подумал он.



Владимир Самсонов

ЖУРАВЛИ

Только вчера звенела капель, на ярком солнце изумрудом переливалась первая травка. И вдруг подул северный ветер, поднялась такая снеговерть, что в одночасье замело все «визитные карточки» весны.

За ворота городка первым в то утро вышел почтальон рядовой Хилько. Не прошел он и сотни метров,

как увидел возле занесенного снегом куста... журавля. Еще несколько дней назад ракетчики заметили, что на соседнее болото их прилетела целая стая. Воины шутили тогда: не ласточки, а журавли, мол, весну делают. И вот — на тебе, сделали...

За соседним кустом лежал еще один еле живой журавль. Хилько поспешил в казарму: «Надо спасать птиц, могут погибнуть...»

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться,— увидев командира, взволнованно произнес он.— Журавли на болоте замерзают...

— Какие журавли?

— Да наши! Рановато, видать, прилетели. Спасать надо...

Через несколько минут группа солдат во главе с почтальоном была на замерзшем болоте. Издали заметили трех крупных серо-пепельных неподвижно стоящих птиц. Затем еще.

— Да ведь они же не от холода, а от голода обессилели,— догадался кто-то из воинов.

— Смотри, как исхудали...

Все с надеждой взглянули на повара. И тот оказался, что называется, на высоте:

— Вот, прихватил малость...

Журавли жадно набросились на пищу. Ослабевших птиц солдаты кормили прямо из рук. И чудо свершилось: уже к вечеру вся стая была на ногах. Птицы настолько осмелели, что теперь уже, завидев солдат, сами шли навстречу и доверчиво тыкались клювами в протянутые ладони с кормом...

А через неделю опять звенела капель, все больше становились проталины. Солнце сгоняло снега куда-то за Полярный круг, и от этого было радостно не только журавлям.



Николай Глебов

ПИП

В один из майских дней пятиклассники сельской школы Митя и Сережа отправились на рыбалку. Озеро, где они ловили гольянов — мелкую, но вкусную рыбешку, называлось Домашним. По берегам в нем росли тальник, осока, а посредине лежала плавучая трясина — лабза — с мелким березняком.

Ребята уселись в старый бат, миновали широкую гладь озерного плеса и пристали к кромке лабзы.

День был тихий, безветренный, весеннее солнце светило ярко, и от этого вода казалась зеркально чистой. Над ней с криком кружили чайки. От светлого бора, окружавшего озеро, доносился еле уловимый запах хвои.

В тот день клев был хороший, и в банках с водой плескались десятка два гольянов. Ребята уже хотели ехать домой, как вдруг их внимание привлек маленький дикий утенок, который вынырнул из воды недалеко от них и, как бы испугавшись своей смелости, нырнул обратно и снова показался у кромки лабзы. Энергично работая лапками, скосив глаза на рыбаков, он исчез в камышах. Затем из зарослей послышалось: «пип-пип», и все смолкло.

— Давай поймаем,— предложил Митя своему другу.

— Как же, поймаешь его,— протянул Сережа.— Лабза большая, гоняйся за ним...

— А почему он один? — спросил Митя и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Наверное, мать потерял. Пропадет ведь.

— Не пропадет,— уверенно произнес Сережа.— Здесь еды хватит. Завтра опять увидим. Дальше плеса никуда не уплывет. Да и ловить незачем. Он еще маленький.

— Подержим на руках и отпустим.

Сережа махнул рукой:

— Ну его. Пускай плавает. Лучше воду вычерпай из бата. Видишь, сколько набежало.

Утонуть ребята не боялись — оба были хорошими пловцами. Порыбачив еще некоторое время, они поплыли домой.

Под вечер плесо опустело. Оставшись один, утенок долго искал мать, оглашая воздух жалобным «пип-пип».

Первую ночь он провел между двумя кочками, тесно стоявшими друг к другу. Теплая майская ночь была полна каких-то неясных звуков, и где-то посредине лабзы ухала выпь. Неслышно пролетела какая-то ночная птица; недалеко от Пипа, так будем называть утенка, проплыла ондатра. При виде ее хищной морды, глянцевой при бледном свете луны спинки с длинным крысиным хвостом Пип замер.

Рассвет застал его у кромки лабзы, в зарослях осоки. Обогревшись, Пип стремительно гонялся за мошкарой, подпрыгивая, ловил ее на лету. Ночные страхи исчезли.

Из переулка к берегу, переваливаясь на коротких лапах, важно шла толстая утка. За ней дружно спешила стайка крохотных утят. Гнала их к озеру женщина. Достигнув берега, утка с ходу плюхнулась в воду, утята последовали за ней. Постояв на берегу, женщина ушла. Пип вначале держался поодаль, затем набрался смелости, подплыл к ним поближе и скоро вместе со всем семейством спокойно плавал между кустами старого засохшего тальника, иногда выплывая на плесо.

Утка звала утят в кусты, но они не слушались матери.

И тут случилось непоправимое — в небе показался коршун. Утка издала тревожное «Кряк!», но было уже поздно: пока утята торопливо плыли к спасительным кустам, хищник камнем упал на одного из них и взмыл с доверчивым утенком вверх. Пип успел нырнуть и долго не показывался из воды. Вынырнув, увидел лодку с ребятами — нырнул еще глубже и выплыл только у лабзы. Охваченная тревогой утка все еще продолжала кричать, созывая рассыпавшихся в тальнике утят. Но Пип на зов не выплыл.

Домашние утята вышли на берег и торопливо направились по переулку. Пип остался в воде. Он покружил среди знакомого тальника и, скосив глаза на небо, нет ли там опасности, выбрался на чистую воду. Тут его и заметили ребята.

— Я тебе говорил, что никуда он не денется с плеса,— обрадовался Сережа.— Давай приучим его? У тебя крошки есть?

— Остались.

— Бросай утенку.

Испугавшись резкого движения руки, Пип стремительно нырнул. Ребята отъехали недалеко от места рыбалки и стали наблюдать. Крошки лежали на дне, и Пип, решившись, начал подбирать их.

Так продолжалось несколько дней. Пип уже проплывал со стайкой домашних утят мимо лодки, а когда болотные кочки покрылись ярко-зеленой осокой, он в ожидании хлебных крошек начал уже один кружить недалеко от ребят.

— Ну вот, а ты говорил: приучить нельзя. Смотри, он нас не боится,— говорил своему другу Сережа.

В один из солнечных весенних дней над плесом пролетела дикая утка. Пип проводил ее взглядом,

приподнялся на лапках, похлопал крыльями и, не отрываясь от воды, пролетел вслед за ней метра два.

— Слаб еще, не может,— наблюдая за утенком, заметил Митя и бросил в воду очередную порцию хлебных крошек.— Пип, Пип,— позвал он его.

Утенок приподнял голову и повернул от лабзы на зов своих друзей. Он начал привыкать к своей кличке и каждый раз, когда раздавался зов, охотно выплывал из зарослей, но к лодке не приближался.

В конце лета Пип увязался за домашними утятами. Утка со своими питомцами направилась на обычную кормежку. Утята шли за ней гурьбой. В переулке, на полпути к дому, утка издала тревожный крик. Утята сбились в кучу. Из деревни, направляясь к озеру, бежало какое-то черное лохматое чудовище и, не обращая внимания на утят, остановилось недалеко от них, вынюхивая что-то в траве.

Послышалось успокоительное «Кряк!», и, переваливаясь с ноги на ногу, утка пошла дальше. При виде собаки Пип присел от страха, но, видя, что утята спокойно идут за уткой, последовал за ними. Нырнув в подворотню, утка с разбегу сунула нос в корытце с месивом. Глядя на своих приятелей, Пип тоже начал есть мятую картошку, перемешанную с отрубями и мелко нарубленной крапивой, и даже залез в корытце. Неожиданно возле корытца появились чьи-то длинные ноги, раздалось хлопанье крыльев и оглушительное «Ку-ка-ре-ку!». Пип бросился наутек со двора.

— Смотри, Пип бежит,— увидел утенка Сережа.— Но почему один?

— Должно, испугался,— улыбнулся Митя и, когда Пип выплыл на середину плеса, бросил в его сторону крошки хлеба. Пип нырнул, подобрал свою добычу, безбоязненно проплыл под водой, где стояла лодка,


„Журавли"
СА
Тоже охота"

вынырнул на другой стороне и спокойно плавал недалеко от ребят.

К началу осени Пип превратился в красивого селезня и начал сторониться домашних уток. Вечерами и рано утром он исчезал с плеса и только днем садился на его спокойную гладь, ожидая ребят. Так повторялось несколько раз.

Наступила ненастная пора. Побурела осока, пожелтели листья берегового тальника, и холодный ветер сбрасывал их в сумрачные волны озера. Обнажились деревья. По ночам было слышно, как гукали совы. Давно улетели скворцы и певчие птицы. Колхозники заканчивали полевые работы. В шум тракторов вливался иногда прощальный крик журавлей. Ночью и утром вода застывала у берегов, и только днем гонимые ветром озерные волны крошили слабый ледок. Утки сбивались в стаи, собираясь в далекий путь. С ними был и Пип.

В конце осени Сережа и Митя, сделав уроки, поехали на рыбалку. Они направили лодку к знакомой лабзе. Там гулял холодный, пронизывающий ветер, да и клев был плохой, и ребята начали свертывать удочки.

Над головой пролетела стая уток. Вот одна из них отделилась от стаи, низко опустилась над плесом и, сделав как бы прощальный круг над ребятами, взмыла вверх.

— Пип прощается.— Сережа с Митей долго смотрели вслед улетающей стае и, когда та скрылась в сумрачной дали, взялись за весла.



Николай Недобежкин

СОКОЛИНАЯ ОХОТА

На редкость долго стояла теплая сибирская осень. Листья по-летнему крепко держались в березниках, скупо меняли окраску. В прозрачном воздухе протягивались нити паутины и, цепляясь за кусты, невесомо опускались в поблекшие травы.

Прожив три дня на гарях, что с весны затоплялись полой водой, мы пробирались на лодках по узкой, обмелевшей речушке Дуван. Она была похожа на ручей, извилисто прорезавший заросли осоки и куги. Из-под плоских, размытых берегов с хлопаньем тяжело вылетали ожиревшие кряквы, но стрелять было бесполезно: в высокой осоке и топком зыбуне не достать убитой дичи.

Вскоре речушка затерялась в небольших разводьях, и мы оказались на кромке озера Бутарлыга, заросшего по берегам тростником и таловыми кустами. С усилием протолкнув лодки в камыш, мы остановились отдохнуть и присмотреть место для вечерней зорьки. Солнце временами пряталось за кучевые облака, тени их медленно проплывали по глади озера и терялись у берега.

Над лесом появился табун чернети-красноголовиков. Они деловито в облете осмотрели озеро и, по спирали теряя высоту, опустились на его середину.

— Видать, птица тронулась с Севера,— заметил Петрович, мой напарник.— Вон, смотри, и орлы появились... Эти «друзья» всегда за валовым перелетом идут. Сейчас они крякшей ловить будут,— показал он в сторону прибрежных кустов.

Там, согнав с чистого плеса уток, кружились два орла.

Перекурив, мы собрались плыть дальше, но в это время над нами пролетела тройка соколов.

— Один старший и два молодых,— глядя в бинокль, уточнил Петрович.— Передний кого-то держит в лапах, не разгляжу — видно, учит молодых охоте...

Старший сокол, по-видимому, только что поймал птицу. Дергаясь под ним, она пыталась вырваться. Часто взмахивая острыми крыльями, сокол тяжело и медленно набирал высоту. Молодые следовали сзади, издавая пронзительные громкие крики.

Над серединой озера сокол выпустил из лап добычу, на несколько мгновений завис и развернулся. Тот из соколят, что летел выше, словно по сигналу, ринулся за птицей, но не рассчитал броска и, не схватив ее, свечой взмыл вверх и примкнул к стайке.

Это был крупный кулик. Он, судорожно и как-то ломко взмахивая помятыми крыльями, переваливаясь с боку на бок, остервенело тянул к берегу. Но старый сокол стрелой скользнул вниз, у самой воды подхватил добычу и с натугой, отяжеленный, полез ввысь.

Кружась над озером, сокол снова отпустил кулика и пронзительно-сердито заверещал. Соколята вмиг вошли в «пике», нагоняя уходящую жертву, но, сойдясь у цели вплотную, видно, помешали друг другу и круто отвернули в разные стороны.

Кулик полого планировал, расправив крылья, потом неожиданно замахал ими, как рваными тряпицами, толчками полетел по прямой, пересекая плес. Совсем недалеко прибрежные кусты.

Измученную птицу заметил орел. Он черным камнем упал сверху, подхватил кулика и замахал к лесу.

Соколята гневно закричали. Старый сокол круто пошел вверх, резко, как ножницы, сложил крылья, в мгновение настиг орла и резанул когтями его спину.

Орел рванулся вниз, гневно и рассерженно заклекотал.

Не уступая в ловкости старому соколу, соколята тоже вступили в схватку, но орел успевал увертываться от них.

Из-за леса на клики битвы появился четвертый сокол. Он громко заверещал и бросился на орла. Делая заходы, похожие на мертвые петли, он, видимо, глубоко раздирал когтями орлиную спину. В его стремительности чувствовалась неукротимая удаль и сила.

— Похоже, что на помощь прилетел отец. Сейчас он его разделает под орех,— усмехнулся Петрович, доставая очередную папиросу.

После каждого налета старого сокола орел как бы на миг прекращал полет, оседая от боли. В воздухе, словно из вспоротой подушки, вертелись темные перья.

Наконец, не выдержав дерзких атак, орел бросил кулика. Но старый сокол не оставил его в покое. Продолжая нападать, он теснил орла к земле. В последнем заходе сокола орел, обороняясь, перевернулся вверх брюхом, угрожающе выпустил когтистые лапы, неуклюже заскользил на крыло и, не успев выправиться, упал в грязь.

Распластав крылья, орел долго лежал не шевелясь на ржавом вонючем зыбуне, злобно следя за недоступными врагами. Когда соколы скрылись, орел, опираясь на крылья, с трудом добрался до кочки. Измазанный илом, обвешанный корнями травы, орел озирался по сторонам, вбирая голову в плечи, даже когда над ним проносились чирки-свистунки. Очищая с себя грязь и обсушивая перья, он, нахохлившись, просидел до темноты.

Небо с востока заволокло тучами, подул холодный ветер. В коротких сумерках быстро наступала темная сентябрьская ночь. Причалив к пристаньке лодки, мы вытащили их на берег, перевернули вверх дном и тор-

ной тропинкой пошли к сторожу, охранявшему колхозное сено, давнишнему приятелю Петровича.

В избе с прокопченными бревенчатыми стенами пахло сырой рыбой и сеном, было тепло и по-охотничьи уютно. Железная печка, накаленная до малинового цвета, с кипящим на ней варевом, временами сердито шипела. Закопченный чайник принялся фыркать и поплевывать, звонко дребезжа крышкой.

За порогом незлобно тявкнула собака. С певучим стоном распахнулась дверь. В неярком свете фонаря, что подвешен вместо лампы, появилась высокая согнутая фигура. Смуглый человек не спеша переступил порог и, улыбаясь, блеснул вставными зубами.

— Добрый вечер, охотнички! — поприветствовал он, снимая с себя объемистый заплечный мешок. С привычной сноровкой повесил на стену ружье и устало присел на край нар.

— Ну, что добыл, Степан? Похвались,— обратился к нему Петрович, счищая с крупных карасей золотистую чешую.

— Плохо, парень, хвалиться нечем... Весь день просидел на самом хорошем месте и ничего не взял. Пару огневок. Да ястреба вот поймал.

— Ястреба?! Поймал?! Ну-ка, покажи! — с недоверием посмотрел на охотника Петрович.

— Подожди маленько... Никуда не уйдет,— Степан глянул через плечо на мешок и не торопясь начал свертывать из газеты цигарку.

— Он, язви его, чучело у меня сцапал и чуть не уволок. Сижу я на перейме,— продолжал он, раскуривая самокрутку,— гляжу: недалеко от меня летят эти самые ястреба: два — впереди, один — сзади. Передние пролетели, а задний так пошел вниз, аж свист от него. Схватил резиновое чучело, поднял, а поводок-то с грузилом за что-то зацепился, он и свались в воду. Тут я его и словил.

— Врешь, поди, Степан?..

— Не веришь, значит... Сейчас увидишь...

Степан принялся развязывать мешок. Затем поднял его за углы, вытряхнул вместе с сеном чучело шилохвостки и живую птицу. Та быстро вскочила на ноги, выправилась и, приподняв крылья, запрыгала по нарам в угол. Остановилась там, обвела всех свирепым взглядом выпуклых глаз, обрамленных желтыми кольцами.

Петрович протер очки, внимательно разглядывая птицу, подошел ближе.

— Это, братцы, не ястреб, нет, это сокол-сапсан. По всему видать, молодой — летошник... Говорят, что за хорошо обученного сапсана казах в прежнее время лучшего коня из табуна отдавал. Потому как ловчее этой птицы — охотника нет... Зря ты его, Степан, не отпустил. Хотя он и хищник, но сейчас взят под охрану. Видать, мало их осталось.. Что ж ты с ним собираешься делать?..

— Сосед у меня, инвалид... из разных птиц хорошо чучелья мастерит. Просил хищника убить ему.

— Такую красоту-то губить!.. У меня в лодке два турухтана лежат. Возьми для него.

— Он хищника просил,— упрямился Степан.

— Петрович! — обратился сторож.— Слыхал я от людей, будто сокол может сбить гуся грудью.

— Не совсем так. Сбивает... но не грудью, тогда бы он сам мог разбиться в лепешку. Сокол обычно берет добычу в воздухе, когтями и клювом — скрещивает задние когти и режет жертву от хвоста до головы. А потом берет в лапы и добивает в голову. Этот, молодой, видно, порезвиться захотел, с воды попробовал взять. Вонзил когти в резину, а высвободить не смог... Похоже, что он из того выводка, что вынудили орла упасть в грязь.

Незаметно за рассказом Петрович сварил по-татарски запашистую, молочного цвета уху и приветливо пригласил всех к столу.

Степан бросил косой взгляд на стол, но с места не сдвинулся. Лицо его было сурово, густые брови поочередно поднимались и хмуро смыкались у глубокой складки на переносице.

По стеклу окна бисером рассыпались первые дождевые капли. Сдуваемые ветром, они косо расплывались серебряными черточками.

Степан встал, накинул на плечи плащ-палатку, достал карманный фонарик, засветил им и направился к двери.

— Куда ты, паря? — спросил сторож.— Аль обиделся?

— Пойду лодку переверну. Сено намокнет...

— Ну, давай быстрей! Уху хлебать будем.

Как только Степан вышел, сторож накрыл сокола фуфайкой и понес его из избушки.



Григорий Бабаков

НА ОТДЫХ

Несколько ночей подряд мы провели на глухариных токах. Хотелось отоспаться и привести себя в порядок. Наша моторка, залитая лучами солнца, разрезая пелымские воды, летела вниз по реке. Дремали. Не спал только моторист. Я почувствовал, как лодка замедлила бег, и открыл глаза. Мы причаливали к берегу. Среди соснового бора белела большая палатка. У самой воды торчал толстый кол с прибитой к нему

доской. На доске чернела надпись углем: «Однодневный дом отдыха» и был нарисован якорь.

— Ну вот и на курорт прибыли! — весело крикнул моторист.

Из палатки навстречу нам вышел высокий темноволосый человек, представился: «Инженер Федоров!» — и радушно пригласил на табор.

Петр Вениаминович оказался начальником партии института, изыскивающей трассу для железной дороги. Его люди ушли в тайгу, а он остался на день, чтобы сделать кое-какие расчеты. Пока ребята готовили завтрак, мы разговорились. Федоров — коренной ленинградец. Вот уже второй сезон проводит в Пелымском краю на разведке трассы.

— Болота, проклятые, мешают! — жалуется он.— Вариантов по десять иной раз приходится делать. И куда ни ткнись — все болото. Но теперь легче будет, до самой Конды места пойдут боровые, сухие. Сосна, кедр.

Вечером, когда на таборе царило оживление, снизу пришла моторка. Приехал начальник партии сейсморазведки Вадим Воронов, молодой, коренастый, с широким обветренным лицом. Сидя у костра, он то и дело похохатывал:

— А здорово это, братцы! Пелым, тайга... Однодневный дом отдыха, костер... Совсем как в приключенческих романах: «А по вечерам там собирались бродяги всех морей и океанов...»

Как-то незаметно разговор, начатый Вадимом, перешел в спор о судьбе пелымской тайги.

Старый лесовод Иван Филиппыч, приехавший с нами, саркастически улыбнулся, сказал ворчливо:

— То и дело от вас слышишь: «Мы изменим, мы переделаем природу!» А позвольте вас спросить, молодые люди, умеете ли вы «изменять, переделывать»?! Мне вот пальто переделать надо было, так знаете что

портной сказал? «Легче новое сшить!» А вы — природу! Не сможете, говорю вам.

— Это как же не сможем? — удивился Вадим.— А целину кто поднял, а Волгу в море превратил, а...

Спор окончился совершенно неожиданно. В азарте лесовод забыл о портянках, сушившихся над костром. Одна из них вдруг вспыхнула ярким пламенем. Иван Филиппыч опрометью кинулся к костру, схватил горящую портянку и стал ее затаптывать ногами в мох. Кто-то бросился ему помогать, кто-то давал «дельные» советы, и гулкое эхо долго перекатывалось по вершинам сосен. Смех был веселый. Так в тайге могут смеяться только хорошо отдохнувшие люди.

Забравшись в спальный мешок, я долго не мог заснуть. За рекой перекликались совы. Временами слышался посвист куличков на песчаной косе, и неумолчно бормотал Пелым.

Я был доволен, что спор лесовода с геологом не продолжен. Всю эту экспедицию подобный спор происходил где-то внутри меня. Непонятное ревнивое чувство рождалось в душе, когда я в пелымской тайге встречался с геологами, строителями, заготовителями лесов. Они пришли изменять и переделывать «край кедра и соболя», край моей юношеской мечты.

Конечно, лесовод прав, утверждая, что мы еще многое не умеем. Но не в этом главное. Главное — в людях.

Люди преобразуют, возрождают природу, и они же нередко истребляют рыбу, вырубают кедровники... И мне очень хотелось верить, что здесь этого не случится.

Заснул я незаметно, а когда проснулся, было совсем светло. Надо мной склонилось улыбающееся лицо Вадима: «Вставай, вставай, звериный инженер, Федоров ждет уже!»

И тут я вспомнил, что вчера обещал показать колонию ондатры.

Стараясь не шуметь, мы спустились сквозь цепкие заросли шиповника и черемухи к берегу старицы. В дальнем конце ее среди залитого полой водой болотца высилось несколько темно-бурых кочек — хаток ондатры.

Мы присели на валежину и стали молча ждать.

На ближайшем кусте шиповника маняще краснела чудом сохранившаяся прошлогодняя ягода. Зверьки не показывались. В воздухе мелькнул какой-то силуэт, и в самый центр старицы звонко шлепнулся чирок. Он замер на мгновение, поглядел направо, налево, будто встряхнулся и вдруг вымолвил: «Три-три».

«Три-три»,— повторил он и быстро поплыл вдоль берега. Самочку ищет, догадался я. Чирку никто не отозвался. Он еще раз встряхнулся и взлетел. «Три-три, три-три»,— неслось над прибрежными ивняками.

— Ишь, хитрец! — прошептал Вадим.— Летит один, а кричит, что три.

Невдалеке раздался тихий всплеск, и мы увидели, как от берега пошла легкая волна. Ондатра вынырнула бесшумно. Из воды выставлялись только часть головы и похожий на змеиный хвост. Зверек прислушался. На поверхности появилось все сигароподобное тело. Волосы по бокам образовывали причудливую бахрому, которая колыхалась вместе с потревоженной водной гладью. Мы услыхали брачный крик самца. Это был резкий свист среднего тона, напоминающий звук «пить, пить». Подобные звуки возникают при резких взмахах веткой лозы.

Послышался еще всплеск, и от противоположного берега навстречу первому поплыл второй зверек.

Они устроили такую возню, что вода вокруг закипела от ударов хвостов. Мои спутники, как завороженные, смотрели на эту сцену. Федоров глядел напря-

женно, сосредоточенно. Казалось, он воспринимал происходящее не только зрением и слухом, но и обонянием. По лицу Вадима блуждала какая-то задумчивая улыбка. Я боялся, что он вот-вот заговорит и спугнет зверьков.

Мне вдруг подумалось: есть что-то глубоко человечное, гораздо более значительное, чем простое любопытство, в интересе моих спутников к поведению зверьков. Чем больше люди, которые пришли преобразовывать Пелымский край, будут знать о его богатствах, тем бережнее станут относиться к ним.

...Когда мы возвратились на табор, вещи уже были уложены и лодка готова к отплытию.

Простившись с Федоровым и Вадимом, мы покинули гостеприимный берег «однодневного дома отдыха».



Григорий Бабаков

ПУСТЬ ЖИВЕТ!

В километре от левого берега Пелыма, между притоками Анянья и Симосья, лежит одно из самых крупных озер — Санги-Тур.

Наслышавшись о богатствах этого озера, мы решили побывать на нем.

Ранним солнечным утром наша лодка причалила к берегу, и мы втроем отправились на озеро. Шли долго. Мы с Валерием тащили маленькую лодку-долбленку, Аркадий нес «манчуги» — утиные чучела.

Еще метров за двести до озера мы услышали птичий гомон. Надрывно-манящие призывы крякв, посвист

чирков, глухие, будто надтреснутые голоса чернетей, гортанные крики гагар можно было различить в разноголосом хоре. Величаво протянула четверка гусей. Мы подошли к самому берегу. Первое, что бросилось в глаза,— фонтаны брызг в дальнем конце озера. Казалось, громадные морские животные резвятся там. Я посмотрел в бинокль. Тысячные стаи уток ежесекундно подымались, а на смену им садились другие стаи.

Вдруг я уловил какую-то знакомую песню. Она никак не вязалась с общим фоном утиного кряка. Я прислушался внимательнее и понял, что это токуют тетерева. Нет, они токовали не на болоте, как обычно, а почти в центре озера, среди черной сплавины, образованной отмершими корнями кубышки. Вероятно, тетерева боялись наземных хищников и потому избрали для тока неприступное место.

Быстро сделав скрадки и выкинув по пятку «манчугов», мы с Валерием расположились на берегу. Аркадий же выплыл на середину озера и там раскинул чучела турпанов. Затем он вместе с лодкой спрятался у берега. После десятка наших выстрелов озеро почти опустело. Утки дружно подымались на крыло и стаями уходили на север. Смолкли тетерева. И только маленькая стайка чернетей ныряла в центре, среди свинцово-серых волн. Солнце светило ослепительно ярко, хотя и не очень грело. Около двенадцати часов дня где-то высоко в небе послышался напряженно-свистящий звук, будто там проносились маленькие реактивные самолеты. Звук как бы повис над озером. И вот в бездонной глубине неба появились черные мушки. Они стремительно снижались и все увеличивались в размерах. Большая стая турпанов падала прямо на «манчуги» Аркадия.

Мы видели, как от берега отчалила лодка. Теперь она совершенно преобразилась и скорее напоминала

плавучий куст. От носа до середины она была укрыта матом из еловых ветвей. Перед Аркадием стояла рамка в форме лука, на которую был натянут голубой ситец. В центре рамки имелось отверстие, из него торчали стволы ружья.

Лодка шла по ветру. Аркадий легко управлялся с маленьким подъездным веслом, стараясь не повернуться к уткам боком.

Заметив приближение незнакомого предмета, турпаны сбились в тесную стаю и поплыли почти ему навстречу. Расчет был правильный. Эти тяжелые северные утки могут подыматься с воды только на ветер. Вот уже стая готова взлететь. Она стала растягиваться в цепочку. Грохнул выстрел. Утки поднялись и полетели почти над самой лодкой. Вторым выстрелом Аркадий сбил еще одного турпана.

С берега процесс охоты казался очень несложным. Однако, когда мы с Валерием попробовали охотиться таким же методом, выяснилось, что вся трудность состоит в умении управлять лодкой. Ехать надо достаточно быстро, но не вынимая весла из воды, чтобы утки не уловили твоих движений. А самое трудное — не дать волне развернуть тебя боком. Особенно в последний момент, когда одна рука занята ружьем, а другой нужно работать веслом.

На озере мы прожили четыре дня: вели наблюдения за пролетом уток, изучали условия обитания ондатры.

На Санги-Туре, третий раз в жизни, мне удалось наблюдать черного аиста, птицу чрезвычайно редкую.

Дело было так. Аист низко пролетел над скрадком Валерия и уселся в ста пятидесяти метрах от него на большую сплавину. И сейчас же от противоположного берега отчалила лодка Аркадия и понеслась по ветру к птице. Я видел все это, и во мне боролись два желания: остановить Аркадия, не дать убить аиста, и дру-

гое — заполучить в коллекцию редчайший экземпляр. Я еще не пришел ни к какому решению, когда увидел, что Валерий вылез из своего скрадка и, стоя во весь рост, грозит Аркадию кулаком и кричит что-то. Аркадий, затаившись за своим щитком, конечно, ничего не видел, кроме диковинной птицы, а встречный ветер не доносил до него крика.

Аист настороженно смотрел в сторону Валерия и не замечал другой опасности. Еще минута, и будет поздно. Если даже птица взлетит, она все равно попадет под выстрел. Валерий схватил винтовку и, не целясь, выстрелил в сторону сплавины. Пуля подняла черный фонтан грязи. Аист взмахнул крыльями и тяжело поднялся в воздух. Аркадий, причалив к берегу, ругал нас «городскими мазилами». Когда же ему объяснили все, он долго недоверчиво оглядывал нас обоих, а потом улыбнулся и сказал: «Впервой довелось мне на такую диковину поглядеть, видать, и впрямь редкая. Пусть живет!»

Мне вспомнился случай, когда нам с Валерием впервые пришлось решать судьбу другого черного аиста.

Возвращаясь с маршрута на речку Рынту, на высоком увале мы увидели на сосне громадное гнездо. Стали гадать, кому оно может принадлежать. Перебрали всех известных нам крупных птиц и методом исключения пришли к выводу: это гнездо орлана-белохвоста. Я уже вынул дневник, чтобы записать в нем наблюдения, как вдруг большая тень накрыла нас обоих. Мы замерли. На край гнезда опустился черный аист. Что привело птицу к родному гнезду в такую пору, когда уже разлетелись птенцы и все другие птицы готовились лететь на юг? Об этом можно только догадываться.

Аист по-хозяйски прошелся по кромке кучи веток и вдруг замер, будто задумался. Что-то древнее и муд-

рое, навеянное восточными сказками, чудилось мне в этой легендарной птице. Роскошный, иссиня-зеленый наряд отливал бронзой. Красные ноги и клюв, агатовые глаза контрастировали с общим тоном оперения. Маленькая головка величаво сидела на длинной, гордо вытянутой шее. Вскинуть ружье к плечу было бы делом одной секунды. Взглянув друг на друга, мы поняли, что хотел сказать каждый: «Пусть живет! Пусть живет эта редкая, сказочная птица!»



Светлана Марченко

ЯРОСЛАВ И МАРИЯ

Ярославу пять лет. А сколько Марии, никто не знает. Она совсем еще молодая кошка, но уже и не котенок. Повадки у нее степенные и взгляд серьезный.

Правда, иногда, если шевельнет ветер бумажку какую или Ярослав кинет на пол пустую катушку и крикнет: «Лови!» — Мария стремглав бросается, накрывает лапой движущуюся штуковину. Хвост у нее при этом становится пушистый, как у лисы, спина дугой, уши к щекам припадают и глаза озорные-озорные, никакой солидности.

Любимое занятие Ярослава — из кубиков и дощечек гараж строить, а у Марии — наблюдать за этой стройкой. Сядет она на «свой» стул, где специально для нее маленькая подушка положена, это Ярослав свою старую думку ей отдал, и, склоняя голову то на один бок, то на другой, как это делают щенки, следит за каждым движением Ярослава. Но не мешает, не прыгает, если даже что упадет или покатится, пони-

мает: гараж — дело серьезное. Только хвост чуть подрагивает. А может, она не столько на кубики смотрит, сколько слушает, о чем Ярослав говорит.

— Что у нас сейчас будет? Га-аж... Еще лучше, чем вче-а...— певуче выводит он гласные, потому что картавит.

— Брм! — чуть слышно соглашается Мария.

Но вот берет Ярослав одну неровную дощечку, вертит ее в руках, не знает, куда приспособить.

— Во! Ма-ия... гляди... Косая доска. С нее ведь и кубики падать будут! Ну куда мы ее?..

Мария смотрит на Ярослава, потом на доску и хвостом бьет, сердится, что такая неловкая вещь попалась.

— Ага! Мы ее вовсе даже убе-ем...

Он решительно забрасывает дощечку под диван, до генеральной уборки. И снова работа идет.

— Вы-ы-асту, буду шофе-е-ом... буду тебя катать! Поняла?..— раздумчиво говорит Ярослав и осторожно кладет наверх самый последний кубик, который хорошо прижимает картонный козырек над въездом в гараж.

Дело наконец закончено. Надо издали оглядеть работу. Ярослав подходит к Марии и смотрит на гараж. Ничего не скажешь, хороший получился гараж!

Мария встает на задние лапы и трется щекой о плечо Ярослава.

— Умница ты моя! — шепчет Ярослав точь-в-точь, как говорит мама, укладывая его спать.

Однажды соседка тетя Зоя увидела, как Мария ластится к Ярославу, и говорит маме:

— Ну, Надежда, как ты терпишь такое безобразие! Побойся бога! Паршой дитя заразится, и глисты, как пить дать, будут!

— Нет у нашей Марии ни глистов, ни лишаев никаких,— очень спокойно отвечает мама,— проверяли

мы ее, вон вместе с Ярославкой в ветлечебницу ездили...

— Ну-у?..— недоверчиво тянет тетя Зоя.— Время, чо ли, лишнего навалом с кошками по врачам таскаться?

— Сама же видишь, с ребенком она играет, как же без проверки... А только Мария наша и воду несвежую пить не станет. Не смотри, что кошка. Такая аккуратная животинка!

— Затискает ведь мальчишка кошку-то, шустрый он у тебя! — ни с того ни с сего заключает соседка.

— Да нет, не затискает. Он же понимает, что не игрушка, а душа живая,— опять очень спокойно говорит мама.

Она надевает плащ, берет сумку и напоминает:

— Ярослав! Как часы зазвонят, достань из холодильника две рыбки для Марии, потом руки помой и ешь кашу и кисель. Не забудь после все снова закрыть салфеткой. Понял?

— Да,— кивает Ярослав.

Встает и тетя Зоя.

— Хотела хлеба перехватить, да уж к Даниловне сбегаю.

Мама останавливается и удивленно смотрит на тетю Зою. Та разводит руками и, сердито улыбаясь, поясняет:

— Кошка у вас у самого буфета спит, шерсти с ее наешься, мыслимо ли дело! — И она, оглаживая ладонью неопрятный свой фартук, уходит за дверь вперед мамы.

— Ну я пошла, сынок,— говорит мама, гладит Ярослава по голове и тоже уходит.

Когда дверь захлопнулась, Ярослав медленно вздохнул и расправил строго сведенные над переносьем белесые свои брови.

Многое означал этот вздох. Ну, во-первых, ему

всегда немного грустно, если уходит мама, хоть в магазин, хоть на работу. А садик опять на карантине, и он целыми днями один дома. Во-вторых, он почувствовал облегчение оттого, что ушла тетя Зоя, которая почему-то сразу невзлюбила Марию.

Раньше мама именно с ней, с тетей Зоей, и оставляла Ярослава. Но сидела тетя Зоя обычно сама по себе. Не смотрела, чем он занимается, никогда не участвовала в его играх и на любой вопрос отвечала быстро и рассеянно:

— Да-да-да! А как же!

И когда он попросил отодвинуть диван, чтобы достать мяч, тетя Зоя, как всегда, поскорее сказала:

— Да-да-да! А ка-ак же!

Но диван не отодвинула, а продолжала что-то старательно высматривать на улице. И Ярослав больше никогда ни о чем ее не просил.

Со второй смены мама возвращалась поздно. Ярослав терпеливо ждал ее и вместе с тетей Зоей смотрел в окно. Потом глаза слипались так сильно, что смотреть было уже невозможно. Ярослав садился на свою постель и начинал раздеваться. Но обычно сил и стараний его хватало на один ботинок и один рукав...

А потом сквозь сон он слышал, как хлопала дверь, это приходила мама.

— Господи, не могла уж помочь раздеться! — шептала мама, после того как тетя Зоя удалялась.— Ну ладно, все-таки ребенок не один сидел...

— Не один сидел...— сквозь сон же отвечал Ярослав.

— Умница ты моя! — тихо и ласково говорила мама.— Спи!

...Однажды в сильный дождь Ярослав с мамой сидели на кухне и смотрели во двор. Во дворе было

пусто. Дождь всех разогнал. Только чья-то одинокая простыня билась на ветру, наматываясь на веревку. И гремело под порывами ветра дырявое ведро, катаясь от песочницы к старому тополю и обратно.

— Мама! Гляди! — Ярослав нетерпеливо пошлепал ладошкой по стеклу.— Во-он! На скамейке кошка! Мама!..

— Да, вижу! Действительно...

Тяжелые косые струи стукали по кошачьей спине, она вздрагивала, но не двигалась с места.

— Мам! Почему она не идет домой? Она чья? Почему она не спасается?! — уже кричал Ярослав.

— Наверное, ей просто некуда идти,— сказала мама скорее себе, чем сыну.

— Совсем, совсем?

Тут мама посмотрела в глаза Ярославу и поняла, что ответила что-то не так, и что Ярослав сейчас заплачет, и что успокоить его может только одно.

— Посиди! Я сейчас,— сказала она и, накинув плащ, вышла из дому.

До этого дождя никто во дворе Марию не видел. Да никто бы, наверное, и не назвал ее так. Такое имя выбрал Ярослав.

Когда Мария обогрелась и привела в порядок свою шкурку, она не торопясь, мягко подошла к блюдцу с теплым молоком, понюхала, оглянулась на хозяев, понюхала воздух...

— Ты ешь, ешь! — хором сказали мама и Ярослав.

И она съела все до последней капельки.

Так кончилось одиночество Ярослава. Он был спокоен и ждал маму без прежнего тоскливого нетерпения. Он привык разговаривать с Марией, и она давала понять, что если не все понимает, то уж слушает всегда внимательно.

Теперь, если мамы не было дома, он ложился спать по звонку будильника. Мария следила, как он снимает


„Ярослав
и Мария"
„Добытчик"

и вешает на стул одежду и ставит под кровать ботинки, а потом отправлялась на свою подушку. И Ярослав уже не слышал, как приходила мама...

Прошла осень, зима. А весной, когда капало с крыш, мама сказала, что у Марии скоро будут котята, ее надо беречь и не гонять много по комнате.

В солнечную субботу ребята собрались у песочницы, хотя в ней вместо песка была бурая лужа. Но ребята привыкли ходить сюда во все времена года.

Ярослав вышел с машиной и большой деревянной лопатой. Он решил строить тоннель из последнего снега.

— Ярослав!

На крыльце стояла мама, и у ее ног терлась Мария, тоже вышла на солнышко.

— Что, мама?!

— Я сейчас вернусь, только молока куплю! Ты никуда не уходи, ладно?

— А Маи-ия?

— Она на крыльце пусть посидит, ей тоже хочется гулять.

И мама ушла.

В самый разгар игры во дворе появился дядя Толя, муж тети Зои, и с ним еще какие-то люди. Все они прошагали к песочнице, чтобы удобно сесть на ее широкий бортик. Огромный сапог дяди Толи погрузился в то место, где только что был тоннель.

— Дядя! Зачем?! — очень громко крикнул Ярослав.

— Что «зачем»? Чего орешь? А ну топай отсюда, кошкин сын!

Дяди Толины руки смахивали одну за другой ребячьи игрушки с бортика песочницы. А красную машину Ярослава дядя Толя стал вертеть в кулаке, намереваясь забросить подальше.

— Отдай! — Ярослав стал отчаянно бить кулаками по колену, по боку этого огромного человека и тянулся к машине.

Дядя Толя неосторожно отпихнул от себя Ярослава, и Ярослав упал в грязь. Он закричал теперь пронзительно и отчаянно.

Легко взметнула Мария с крыльца свое грузное тело и бросилась на обидчика. Она прыгнула на голову и вцепилась ему в лицо. Дядя Толя взревел, рывком сбросил Марию и, схватив деревянную лопату, ударил что было силы Марию поперек живота. Мария метнулась под крыльцо.

Размазывая по лицу кровь, дядя Толя пошел с компанией в подъезд.

Только утром удалось маме выманить Марию из-под крыльца и унести домой. В этот день она поехала с Марией к врачу, оставив Ярослава у другой соседки.

Вернулась нескоро. Бережно опустила Марию на ее подушку, поставила на подоконник несколько пузырьков с лекарствами.

— Она выздоровеет, будет жить! — прежде всего сказала мама Ярославу.— Позвоночник у нее цел.

— Цел? — дрожа от невыплаканных слез, переспросил Ярослав.

— Цел, сынок. Она уже в больнице воду пила, значит, все будет хорошо.

— Все? — опять переспросил Ярослав очень звонко.

— Да! А котятки у нее на будущий год будут, когда она совсем поправится.

Уже в кровати, держа маму за руку, Ярослав долго-долго молчал и сказал:

— Она у нас молодец, да, мама? Это она за меня заступилась! Настоящий ду-уг! — он всхлипнул в последний раз и закрыл глаза. Ведь ему надо было теперь спать сразу за целых две ночи.



Борис Рябинин

У СТАРОГО ПНЯ

Танковая часть стояла на отдыхе в ближнем тылу. После ожесточенных боев ждали пополнения, залечивали раны, ремонтировали технику. Лесок на взгорье надежно прикрывал часть от глаз воздушного разведчика. В отрытых в земле укрытиях стояли десятки «тридцатьчетверок» с грозно глядящими на запад жерлами орудий.

Накапливались силы для нового удара по врагу.

Лес, где расположилась часть, был веселый, насквозь пронизанный солнечными лучами. Желтые блики лежали на пышной зеленой листве, на чисто разметенных дорожках, на броне танков, укрытых под сенью деревьев.

В лесу росли дубы, клены, ясени. Высоченными телеграфными столбами подпирали небо старые черешни. Их темные, с плотной гладкой кожей стволы правильной круглой формы казались обведенными циркулем; ветви — сплошь осыпаны доспевающими плодами.

На одном краю леса отдельной группой стояли сосны. Далеко от предгорий Карпат до Урала, и эти сосны с их душистой темно-зеленой хвоей для танкистов-уральцев словно были кусочком родного края.

Щебетанье птиц наполняло лес с рассвета до захода солнца. Здесь, в куще деревьев, они вили гнезда и выводили птенцов. Никто не трогал их. Людям были любы их нежные переливчатые голоса, и, сидя за дощатым столиком на вбитых в землю ножках, иной гвардеец, выводя заскорузлыми пальцами закорючки на бумаге, поднимет голову, прислушается, улыбнется

и с просветленным лицом снова примется за письмо родным, семье или оставленной дома милой...

Машина политотдела — фургон, закамуфлированный зелеными и бурыми пятнами, как одежда у разведчиков,— стояла у опушки, одним колесом почти касаясь старого замшелого пня. Капитан, начальник политотдела, большой, грузноватый человек с медно-красным лицом от постоянного пребывания на воздухе, часто пользовался пнем, иногда как сиденьем, иногда раскладывая на нем свои бумаги. Но раз он заметил: в едва заметное отверстие у основания пня быстро шмыгнула какая-то пичужка. С этого времени пень стал неприкосновенным. Шоферу было приказано сдать машину чуть назад.

Теперь лишь издали наблюдали, как малая птаха, оливково-серенькая, со светлым брюшком, ножками-спичечками — это была пеночка,— капитально оборудовала свое жилье: таскала сухие былинки, пух, прутики. Не сразу сообразили, что их двое, самец и самочка: они всегда старались прилетать украдкой, избегая людей. А потом летать стал один — «он», «хозяин», как прозвали его в шутку фронтовики. «Она», очевидно, высиживала птенцов.

Хлопот у «хозяина» прибавилось: то он нес букашку, то червяка. Политотдельцы нарочно рассыпали крошки около пня, и «хозяин» собирал и уносил их, с непостижимой быстротой и ловкостью ныряя в темную лазейку, прикрытую травой.

Однажды капитан осторожно, сделав жест, призывающий к соблюдению тишины, подвел своих сотрудников к пню. Большое бронзовокожее лицо его сияло.

— Чуете? — промолвил он с важной простотой.

Из пня доносилось слабое попискивание.

Семейство пеночек увеличилось. Увеличились и заботы родителей.

Они сновали от зари до зари, почти не боясь лю-

дей в защитном, очевидно, уверовав в их добросердечие. А рядом стучала пишущая машинка, составлялись очередные документы на вновь вступивших в партию. В служебные заботы порой вплеталось мелодичное теньканье. Привычный, будничный распорядок жизни политотдела настраивал на мирный лад.

И в этот день, безоблачный, напоенный теплом и светом, вдруг ворвалась серия взрывов. С яростным ревом, едва не задев крыльями верхушки деревьев, над лесом пронесся «мессершмитт». Следом рвались бомбы.

То ли «фокке-вульфу» удалось выследить, как под зеленый шатер на холме заезжал бензозаправщик, то ли это была попытка припугнуть, прощупать, словом, будто черный коршун, распластавший крылья, вражеский самолет появился и исчез, точно растворился. После наступила тишина. Лишь крутились в воздухе взметнувшиеся сухие прошлогодние листья да сверху с тихим шорохом еще долго сыпались комочки земли. Медленно оседала пыль.

Потерь не было, если не считать пробитого капота на одном из грузовиков. Впрочем...

Одна из бомб грохнула около политотдельской машины. Никто из людей не пострадал. Но осколок снес половину пня. Уцелевшую половину засыпало землей.

Это заметили по тому, как заметался прилетевший «хозяин». С жалобным писком, тревожно он перепархивал с места на место, почти касаясь крылышками лиц людей, словно взывая: «Помогите, люди!..»

Капитан руками принялся раскидывать комья земли, сухие гнилушки, куски дерна с перепутанными корнями растений. Кто-то услужливо протянул саперную лопатку, но капитан с негодованием отверг ее: птенцы не картофель, разрежешь — не соберешь.

Осторожно разобрал комок за комком. «Хозяин» толокся тут же.

Вот и черная дырка — вход в домик пеночек... Едва она открылась, высунулась верткая головка пеночки с блестящими глазками-бусинками. У всех отлегло от сердца.

— А птенцы?

Капитан приложил ухо к подножию пня и просветлел:

— Пищат... Живы!..

Поднявшись с колен, он отряхнул землю с брюк, отер платком взмокший лоб и облегченно перевел дух:

— Уф! А я уж испугался: погибнут ни за что...

Капитана знали мужественным человеком. За всю войну с ним не случалось, чтобы он растерялся, потерял власть над собой. Когда хотели поставить в пример, всегда называли его.

Сегодня он впервые сам признался в собственной слабости. Но сегодня это никого не удивило.



Борис Рябинин

ПОДАРОК
(Зачем?)

Мы ехали на озеро Маян, к «соседям» в Челябинскую область. Быстрый ГАЗ-67, вездеход, как любовно величают его все шоферы, пробежал уже половину расстояния, когда вдруг спустила камера: где-то напоролись на гвоздь. Пришлось всем выйти, пока водитель занимался ремонтом — вытаскивал домкрат, менял колесо.

Я как мог помогал шоферу, другие бродили вокруг и давали советы.

Машина остановилась на обочине шоссе, за обочиной начинались болотце, ольховые кусты, осинник. Доносились птичьи голоса. Место было пустынное, хотя рядом проходила хорошая грунтовая дорога с довольно оживленным движением.

С нами был подросток четырнадцати лет. Я хорошо знал их, отца и сына. Отец всю войну провел на передовой, натосковался по мирной жизни. Война закончилась много лет назад, но всякий раз, выезжая в лес, он жадно вдыхал его запахи, с вожделением повторяя: «Ах, хорошо. Красота-то какая! Почаще бы, натосковалась душа...»

Сын очень походил на отца: такой же крупный, ширококостный, пригож с лица. Вероятно, поэтому его неимоверно баловали.

Страстный любитель ружейной охоты, отец подарил сыну пневматическое ружьецо. Считалось, что оно безопасно и никому не может причинить серьезного вреда.

Мальчишки всегда любят пулять, швырять в когонибудь.

Испробовать отцовский подарок не терпелось и нашему юному спутнику. Еще в пути он то и дело хватался за ружье. Теперь, захватив его, он направился к болоту.

Никто из нас не обратил внимания на выстрел, тем более что звук выстрела из духового ружья очень слаб. Мы поняли, что произошло, лишь когда Игорь вернулся.

Он держал длинноклювую серую, в крапинках птицу. Она безжизненно свисала из его рук. Из ранки на шее еще стекала кровь.

Игорь был невероятно горд. Такая удача: с одного выстрела! Прямо по-снайперски. Сейчас он, вероятно, был способен перестрелять все живое вокруг.

Совсем иное впечатление вызвал его «подвиг» у нас.

Сроки охоты еще не наступили. Был разгар гнездования, птицы обзаводились семьями, выводили птенцов. Промысел дичи в такую пору — чистейшее браконьерство, хуже того — варварство.

Об этом должен был знать и помнить Игорь. И тем не менее это не остановило его.

Он убил. Для чего? Зачем?

Просто так. Из озорства. Из ложно понимаемой удали. Из любопытства...

Зачем дарят ружья юнцам? Какая польза от таких подарков?

Не знаю, понял ли отец, какую он совершил ошибку, дав ружье в руки сына, но только он нахмурился. У переносья, где когда-то вражеский осколок оставил заметный след, обозначилась глубокая складка. Он не глядел на нас.

— Зачем? — подчеркнуто строго спросил он.— Ты что, не знаешь, когда можно охотиться?

Сын протестующе взглянул на него.

— Положи туда, где убил...

Игорь нехотя подчинился. Он явно недоумевал: для чего ружье, если из него нельзя стрелять? Красивое розовощекое лицо парня с выдавшейся капризной нижней губой выражало недовольство и несогласие с отцом.

Впрочем, сейчас он уже не казался мне красивым, проглянуло что-то жестокое в его глазах. И я будто впервые увидел его.

Проглядел отец сына, что-то упустил, вовремя не сделал. Стало обидно за отца, досадно за себя, что не вмешался, не остановил.

Игорь отнес мертвого куличка на болото и положил на кочку. И тотчас с кустов слетел незаметно хоронившийся там второй куличок, самка. Вероятно, поблизости было гнездо. Никто не трогал их; машины проносились не останавливаясь. Сев около мертвого супруга,

она застыла в горестной позе, время от времени издавая жалобный звук-плач...

Ремонт закончился. Мы сели. Машина тронулась.

Постепенно чувство вины, непоправимости случившегося прошло, облачко рассеялось.

Красота природы действовала умиротворяюще. Природа всегда приносит мир и успокоение. Она согнала неприятный осадок с сердца, и мы отлично провели остаток дня на берегу озера: купались, выпили не один котелок чаю, пекли в золе картошку, снова болтали, шутили, смеялись, словом, делали все, что и положено делать в подобных обстоятельствах. Об убитом куличке больше никто не вспоминал. Но что-то неуловимо изменилось в общем настроении. Возникла какая-то отчужденность, и это явственно ощущал каждый.

Когда мы возвращались в город, около знакомого места все разговоры смолкли, точно по уговору. Неожиданно шофер замедлил ход машины и показал:

— Смотрите...

Самка-куличок стояла все в той же горестно-неподвижной, скорбной позе, как мы ее оставили утром. И снова до нас донесся ее стон-плач.

Помрачневший шофер дал газ. Машина стала набирать скорость.

Спидометр отмеривал километр за километром, а в ушах еще долго слышался этот стон, эта жалоба обездоленного нами легкокрылого и такого безутешного в своем горе создания, все еще виделась в сгущающемся сумраке вечера маленькая застывшая фигурка на высоких тонких ножках — и росло чувство виноватости за бессмысленно погубленную жизнь...



Александр Дягилев

С УДОЧКОЙ

В детстве я, как и большинство мальчишек, ленивым не был. Не слишком в тягость было мне таскать небольшой неводок по речным заливам и озерным кочкам. Плавал я отлично и не боялся любой глубины.

Был я парнем рослым, и частенько приглашали меня помощником в неводной рыбалке поселковые мужики. Невода у них были побольше наших ребячьих, но я лишь иногда помогал им тянуть особо тяжелые тони. А носить ведро с пойманной рыбой было не тяжело и даже приятно. Когда мужики затягивали длинную тоню, я сидел на берегу и рассматривал в ведре пойманных щурят и карасей, окуньков и плотвичек. А бывало, что в ведре неуклюже поворачивались аршинные щуки, плескались полукилограммовые розово-полосатые горбачи-окуни и золотобокие лапти-караси.

Не скучно было и «булькать» в воде у берега, загоняя в невод слишком догадливую рыбешку, желающую удрать на свободу около его открытых флангов, или не давая резвой щучке махнуть через невод в акробатическом спасительном прыжке над деревянными поплавками.

Хуже было, когда невод на большой глубине зацеплялся за подводную корягу. Тут уж наступала моя основная обязанность: «Ты помоложе, тебе можно и понырять!»

Иногда это было целое дерево с острыми изломанными сучьями, лежащее на вязком озерном дне, застойная вода около которого была нестерпимо студеной

даже в самую жаркую летнюю пору. Приходилось нырять много раз, распутывая и снимая с сучьев осклизлый от ила, местами закрученный невод.

Озябший, зелено-бурый от налипших водорослей и ила, я потом стремительно вырывался из озера, прыгал, выжимая мокрую одежду, а затем долго бегал вдоль берега, чтобы согреться. Часто я еще не успевал согреться, как снова приходилось лезть в воду: в лесных озерах коряг хватало...

А при дележке пойманной рыбы иногда какой-нибудь прижимистый мужик прямо-таки бессовестно говорил при мне же: «Он помоложе, ему можно помельче и поменьше». Остальные обычно молчаливо соглашались с ним, а я тоже молча проглатывал обиду (а то ведь в другой раз и вообще не возьмут на рыбалку). И утешала меня дома только мать ласковым взглядом и словами: «Жадным все равно не будет счастья, а тебе хватит, и ты заработал честно!» И кормила меня чем-нибудь горячим и вкусным, как могла на свете только она одна. И я успокаивался.

Позднее я начал понимать, что мой честный «заработок» не так уж и честен по отношению к рыбе. Ведь протянутый между кромками залива частый невод наглухо «запирал» в нем рыбу. Выхода ей не было, и как она ни металась, ей приходилось идти в мотню, а потом в уху или на сковородку. Честным равенством между рыбой и рыболовами тут и не пахло. И я охладел к неводной рыбалке-добытчине на всю жизнь!

К сетям-поставушкам я не пристрастился по той же причине. В мутной воде или темной ночью, не замечая ее тонких предательских нитей, рыба попадает в сеть врасплох. Да и днем, спасаясь стремительным бегством от шума, плеска и рявканья конусного «ботала» на длинном шесте, которым добытчик бьет по воде, рыба замечает сеть лишь тогда, когда уже безнадежно запутается в ней. Все это нечестно! И уж втройне

бессовестно ловить рыбу сетью «втихую», обкидывая темной воровской ночью прибрежные травы и коряжники — ночные прибежища уставшей за день рыбы. Это преступление перед природой, а значит, и перед людьми.

Вентерями и вершами я тоже не увлекся. Натыкаясь на сетевую или деревянную изгородь, рыба идет вдоль нее в поисках прохода и, найдя, устремляется в него, неожиданно оказываясь в плетеной ловушке, из которой ей нет выхода. Какая уж тут честность?!

Но от рыболовной страсти, как, между прочим, и от охоты, излечиться трудно. И из всех рыболовных ловушек и ухищрений я выбрал как «наименьшее зло» рыбную ловлю удочкой и изредка спиннингом.

Здесь рыболов по отношению к рыбе наиболее честен. Он предлагает рыбе, без всякого насилия над нею, различные приманки-насадки и блесны. И рыбье дело — брать их или не брать. Опытная рыбешка, начисто обгладывая насадку на крючке, уходит от него невредимой, а неопытная часто срывается и все равно остается жить в родной стихии.

Мешков и ведер на удочную рыбалку я никогда не беру и обычно вполне довольствуюсь рыбацкой добычей на самую скромную уху. Но, конечно, как и все рыболовы, я всегда не прочь похвастать добытым крупным экземпляром из подводного царства.

Но главная прелесть удочной рыбалки не в этом. Ведь большинство ее несложных операций при ловле выполняешь машинально, и голова при этом остается свободной для разных наблюдений и размышлений. А в период бесклевья можешь оглядывать воду, сушу и воздух до самых детальных мелочей, следить за всеми событиями вокруг и думать о чем угодно. Но больше о хорошем. И подчас никому не ведомом. Недаром многие из произведений Константина Паустовского родились или были обдуманы им наедине с удочками.

И что еще особо приятно и полезно — дышать запахом воды и трав...

И вот в солнечный день сижу я на зеленом берегу реки. Замерли цветные поплавки удочек. Лениво струится у берега коричнево-желтая вода. Отражаются в ней пышные ивовые кусты, зеленый берег, голубое небо с кучевыми облаками, длинные вицы удилищ, пролетающий над рекой черный грач... Суетливо бегает вдоль уреза воды серенькая плиска-трясогузка, испуганно шарахаясь от выползающей из воды большой черной пиявки. К стеблю ежеголовки у самой поверхности воды приклеилась спиральная улитка и греется на солнышке. На широкий лист кувшинки неуклюже вскарабкалась светло-бурая лягушка, посидела немного молча, а потом, раздувая щеки, стала громко жаловаться на всю округу: «Сыр-ро, сыр-ро, сыр-ро!..» А ее товарки с другого берега немедленно и дружно закричали в ответ: «Привыкнешь, при-выкнешь, при-выкнешь!..»

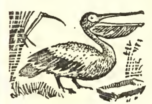
А сзади меня на старом развесистом тополе скворец, не умеющий сочинять собственных песен, собирал попурри из чужих: разливался жаворонком и свиристелью, пел иволгой, трещал дроздом, «текал» бекасом, крякал уткой, переливался зябликом и даже пытался «заткнуть за пояс» гениального маэстро — соловья. Вот, черная бестия, сколько сумел наворовать чужих песен! Но зла на скворца у меня, конечно, не было. Рыбу он не пугал. И даже появилась зависть, что он, не в пример мне и многим людям, знает столько хороших песен.

Вот так я и сидел на берегу, слушая скворчиные песни и лягушачьи концерты, дышал запахом воды и трав, мысленно плавал с карасями меж причудливых стеблей и листьев подводных трав и водорослей, улетал с чайкой в далекие речные повороты, плыл с легкими облаками в неведомые страны...

А добыча? Что там добыча! Всем известна русская поговорка: «Кто стреляет да удит, у того мало что будет». Не поймал рыбешки сегодня, поймаю в следующий раз. Ведь все равно ту рыбу, что про меня «записана», я изловлю рано или поздно. И никому другому она не достанется!

И стоит ли тут спешить? Ведь за последней пойманной рыбкой уж и конец твоей жизни. И сразу вспоминаются слова Марка Твена, тоже заядлого рыболова: «Не торопись, не торопись! На собственные похороны все равно не опоздаешь».

И даже думая о «собственных похоронах», я все равно счастливо улыбаюсь.



Евгений Бородин

МИХАИЛ С ЧЕРНОГО ОЗЕРА

В этой неоглядной выутюженной ветрами степи то тут, то там будто кто рассыпал стекла. Маленькие и большие, круглые, как монета, и изогнутые, как колбаса. Озера мелководные, илистые и соленые. А озеро Черное — самое большое из них — вытянулось в длину на шестьдесят километров. За день не обойдешь.

Первый раз я побывал на Черном в конце лета. Долго брел по гладкому серому берегу, покрытому короткой рыжей травой. И не мог подобраться к воде. Далеко в глубь озера уходили камыш и тростники. Я уже совсем было отчаялся — не увидеть мне озера, как вдруг открылась узенькая полоска воды, подкатившая к самому берегу. На берегу лежали опрокинутые вверх дном лодки, а чуть выше, на маленьком

бугорке, виднелась землянка. Из нее вышел приземистый полный мужчина с удивительно розовым круглым лицом. Одна нога у него была деревянная, а при ходьбе он чертил ею дугу. Познакомились.

— Зовут Михаилом Роговым,— чистым голосом и как-то очень простодушно сказал он.

Прежде я уже слышал об инвалиде войны, охотнике и рыбаке Рогове, который ежегодно сдает чуть ли не по тысяче шкурок ондатры. Слышал, что никакая сила не может его оторвать от озера и что стал он добровольным его охранителем.

Время было позднее, и отправляться на озеро не имело смысла. Михаил стал хлопотать над таганом, готовить уху. После ужина он прибрал посуду, хлеб, а остатки ухи вылил в небольшое корытце. Я подумал, что это для собаки. Михаил действительно стал кого-то звать: «Семка, Семка!» Вскоре камыши зашевелились, зашуршали, и из них вышла огромная белая птица с бледно-сероватой спиной и черно-бурыми меховыми перьями. Кудрявый пеликан! Я слышал, что они обильно водятся на Черном озере, на юге Тюменской области, и это самая северная колония в мире.

Семушка не боясь подошел к корытцу и мигом справился с ухой, ловко, как артист-эквилибрист, подкидывал рыбок вверх и без промаха заглатывал их только с головы. Ну и мастак! Потом Михаил подлил в корытце молока и положил хлебных крошек. Семушка, набрав полный двугорбый клюв молока и крошек, вздирал вверх голову, и пища комом прокатывалась по длинной шее.

Михаил тем временем рассказал историю этой царственной птицы. Однажды он делал прокос в молодом камыше и вдруг спугнул луня, в лапах которого барахтался пеликаний птенец. Михаил забрал птенца домой и стал его лечить. Птенец привязался к охотнику. У пеликана было сломано крыло, и он долго не ре-

шался летать. Потому, наверное, в человеке видел защитника и кормильца...

Утром мы выехали на моторной лодке. Узкий рукав, по которому шла лодка, извивался и петлял. И наша землянка на бугре то показывалась совсем близко, то исчезала из вида. Вдоль рукава стояли вехи — связанные пучки тростника. Не будь этих знаков — заблудиться недолго. Михаил рассказывал, что на озере есть плавучие острова. Когда поднимается ветер, острова перемещаются, перегораживают рукава и протоки. И туго тогда приходится рыбаку-охотнику. Вот почему у озера такое мрачное название. Черное — значит, лихое, коварное.

Лодка то вырывалась на широкие плесы, то опять кружилась по глухому лабиринту рукавов. Наконец Михаил заглушил мотор и стал подталкивать лодку длинным тупым шестом. Но вскоре он отложил в сторону и шест: рукав настолько сузился, что двигаться вперед можно было лишь ухватившись за тростник или камыш. Мы тихонько подтягивались, раздвигая плотную стену. Но вот заросли заметно поредели, идти стало легче. Повсюду шныряли черные лысухи, тяжело поднимались гуси и кряквы, с достоинством и гордостью удалялись в безопасное место гагары и серые цапли.

И вдруг нам открылась картина. Над широким плесом, показавшимся сквозь частокол тростника, тучей кружились чайки. Самых разных пород. Тут носились и чайки-хохотуньи, и крачки, и гроза рыбаков — халеи. Чайки стремительно падали вниз и выхватывали из воды рыбешек. На этом мелководье шла занимательная коллективная охота. Сюда же цепью бежали пеликаны, ожесточенно хлопая по воде своими мощными крыльями. Немного пробежав, они останавливались и торжественно, как на параде, двигались вперед по направлению к нам, поминутно опуская в воду го-

ловы и выхватывая из нее желтобоких карасей. За пеликанами катился еще один эшелон охотников — бакланы. Эти черные птицы — величиной с гуся, с бронзовым оттенком на спине — отличные ныряльщики.

Охота между ее участниками протекала удивительно мирно. Мирно она и закончилась. Насытившись, пеликаны вылезли на лабзу — топкую грязь и, сложив шеи знаками вопроса, задремали. На них тотчас опустились отдыхать чайки. А куда им деться — до берега далеко лететь. Пеликаны не проявляли никакого неудовольствия.

Не тревожа такое дружное сообщество, мы незаметно снялись из своего укрытия и повернули назад. Тем более что для Михаила наступил рабочий день. Вернувшись домой, он вытолкал из прибрежных зарослей агрегат — лодку с мотором и режущей лентой. Завел мотор, и агрегат врезался в зеленую стену. За лодкой пополз широкий валок. Это, как мне потом объяснил Михаил, строительный материал для ондатровых хаток. Ведь главное богатство Черного озера — ондатры. Их завезли сюда еще в тридцатых годах. Новоселы хорошо прижились. Каждую осень и зиму охотники собирают здесь хороший урожай пушнины. А чтобы этот урожай не оскудевал, надо оберегать ондатру от хищников, помогать ей устраивать сытую жизнь, как это делает Михаил Рогов...

...Вторично я попал на Черное озеро в разгар осени. Сюда уже слеталась вся перелетная дичь, летовавшая у нас на Севере: тысячи уток, гусей, чаек. Над озером стоял сплошной неутихающий гвалт. Огромные табуны птиц то поднимались над водой, то снова опускались на нее.

Михаил стоял возле своей землянки и смотрел на озеро. В глазах его я заметил едва уловимую грустинку.

— А Семушка-то совсем поправился, недавно уле-

тел к своим... А вот долетит ли до юга-то? — с какой-то растерянной беспомощностью спросил он меня, словно бы я должен точно это знать.

Я выразил уверенность, что обязательно долетит, иначе чего бы ему срываться от такого доброго хозяина.

Потом я восхищался длинными «улицами», прорубленными Михаилом в густых зарослях. На «улицах» чернело много невысоких бугорков — ондатровых хаток.



Михаил Найдич

ДОБЫТЧИК

С камнем в руке Володя пробирался по лесу.

Он и сам не рад был тому, что произошло. Зачем, спрашивается, было строить из себя этакого бойкого парня, которому море по колено? К чему было орать на весь лес: «Кому беличья шубка? Кому-у?»

Кричать и дурачиться он стал после того, как увидел на сосне белку. Оранжевый фитилек зажигался то на одной ветке, то на другой. Потом перелетал на соседнюю сосну и дальше. А справа — опять оранжевая вспышка. «Ого! Да их тут много»,— Володя удивленно оглядывал верхушки деревьев.

И без того высокие плечи парня поднялись еще выше. Стриженая голова откинута назад, стекла очков поблескивают.

На его голос откликнулась Оля. Она сидела на ровном пеньке, обхватив руками голые колени. Справа и слева полулежали на траве с гитарами Серега и Слав-

ка. Серега крутил колки, настраивал инструмент, а Славка тренькал и тренькал, мучил одну струну, позабыв о существовании остальных пяти,— патлатая макушка его и загривок вздрагивали в такт и не в такт.

— Мне-е беличью шубку! — задорно выкрикнула Оля. Она положила свои ладони на грифы гитар, мгновенно зажав им рот.— Мне, говорю! Ну, пусть не шубка, я и на воротник согласна. Двух белок вполне хватит... Правда, мальчики?

Она взглянула на гитаристов. Те лениво посмотрели вверх на нее.

Опустив ресницы, Оля капризно продолжала:

— В каждом настоящем мужчине должен жить охотник, добытчик. Он обязан, в случае нужды, достать своей женщине мясо, шкуру зверя...

— Автомашину «Жигули»,— подсказал Серега.

— Молчи! Я правильно говорю... Правильно, Славик?

Славке более всего хотелось, чтобы она наконец сняла руку с гитары, и он незамедлительно кивнул чубом — правильно, дескать.

Но девушка увидела на Володиных губах насмешливую улыбку, и ей внезапно захотелось настоять на своем. Да! Начинала она, может, и шутя, а сейчас нет — только всерьез.

— Или ты боишься? Тогда пойдет Славик, он уж не промажет. Да, Славик?

Славка теперь глядел на всех решительно, будто готов немедленно — ради женщины Оли — идти бить камнем белок, или отправиться в Якутию за алмазами, или, в крайнем случае, убирать хлопок в Голодной степи.

Володя круто повернулся, поднял с земли камень и ушел.

...Он остался с природой один на один. Белки, словно вдруг почуяв опасность, куда-то исчезли. Осторож-

но, боясь, как бы не затрещали под ногами сучья, он шел дальше. Где пружинисто вздрогнет ветка, туда он и подкрадывался.

Сначала это не удавалось ему: белки не давали сократить разрыв даже на несколько шагов. Потом одна из них замешкалась, и он увидел — очень четко — ее хвост. Только занес руку для броска — белка стремглав перелетела на другую сосну. И опять подпустила. И опять обманула.

«Ах, так! — лоб у Володи стал холодным и влажным.— Заманиваешь? Смеешься?»

Два раза ему все-таки удалось бросить камень. Безрезультатно. Сейчас он не думал о белке как о живом существе. Просто мишень.

«Зловредная притом»,— обозлился Володя.

В азарте он начисто забыл читанное где-то: ни один охотник летом белку бить не будет.

«Когда-то же я здорово бросал камни!» — Володя крался за белкой, и та вывела его на опушку.

Здесь, под легким ветром, волной шевелились травы — зеленые, белесые, почти до колен. Широко ступая по ним, уходила в обе стороны линия электропередачи. И монотонно, заунывно гудела. Выше нее стояли недокучливые белые облака, которые приходят и уходят без грозы и дождя. Как легко здесь дышать!

Камень в кулаке вспотел, злость накапливалась, Володя снова повернул к лесу. Где-то рядом задрожала ветка... Белка! И, верно, та же самая. Которая дразнится и не дается... Он вдруг подумал, что Оля наверняка сейчас смеется над ним: где ему, очкарику, попасть! И Славка похихикивает. Серега не станет, а Славка — даже вполне. Сам бы побросал. Тут ведь не каждый снайпер попадет, тут надо быть виртуозом...

Тропинка, по которой он пробирался теперь, пошла под уклон. Стало сыро — поблизости, значит, озеро.

Земля под ногами мягкая, кеды оставляют на ней узорчатые следы...

Белка спокойно сидела на верхушке невысокой осины. Впервые в жизни Володя понял: целиться надо не только глазами — всем существом. Все в Володе было натянуто до предела.

Просвистел камень, коротко вздохнула листва. И пушистый огненный комок упал на сырую, ядовито зеленую траву. Володя мгновенно бросился на него, успев, однако, подумать: «Что со мной происходит?.. Как зверь». И тут же эта мысль исчезла.

Белка была жива: камень лишь оглушил ее, и Володя поторопился завернуть ее в куртку. Он и сам не верил своей меткости. Надо же! Вот удача!

Восторженно встретили его люди. Оля на пеньке отплясывала какой-то африканский танец, гитаристы старались как никогда.

— Какая белочка! Какой экземпляр!.. Володечка, ты настоящий мужчина,— горячо нахваливала Оля.

«Экземпляр?» — Володя чувствовал, как мелко-мелко дрожит в его нейлоновой куртке зверек. «Что же сейчас с его сердчишком делается!»

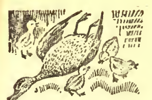
Славка взглянул на выглядывающую из куртки трепетную мордаху и зареготал:

— Освежевать! А шкурку толкнуть в комиссионку.

— Нет,— пропела Оля.— Как же тогда мой воротник?

Но Володя уже независимо глядел на своих приятелей. Как это раньше он был несмелым? Вечно в тени, чуть перебьют — и замолкает.

Он отошел на несколько шагов и, положив на землю куртку, рывком развернул. Зверек несколько секунд сидел неподвижно. Первый его прыжок в сторону казался нерешительным, вялым. Но вот уже веселый огонек круто взметнулся по стволу и стал перекидываться с дерева на дерево. Как и раньше.



Леонид Печенкин

УТКА

— Ну что ты молчишь? Решайся! Я все продумал, и на этот раз получится во как, без осечки!

Шурка показал Алику кулак с оттопыренным большим пальцем. Но Алик молчит. Его черные открытые глаза с грустинкой смотрят в дальний конец деревни. Там серебристая излучина речки. К ее обрывистому берегу подступает сосновый бор.

— Вдвоем-то нам куда веселей будет. Да и отца твоего, может, разыщем...

Молчит Алик. Смотрит и смотрит в ту сторону, словно отродясь не видел ни излучины, ни леса, ни крайних изб, что образовали там, на другом берегу, кривую улицу.

Молчание Алика начинает раздражать Шурку: Шурка по натуре непоседа, словоохотлив, горяч. Он не из той породы тугодумов, к которой относит Алика. И если бы он не считал Алика своим единственным другом — разве стал бы уговаривать его столько времени!

— Решайся, Алька! Иначе потом не раз пожалеешь. Я бы на твоем месте...

В марте Шурке исполнилось тринадцать. Он белобрысый и худющий. Глаза у него серо-зеленые, а ресницы и брови цвета старой соломы. Но за весну они так выгорают под солнцем, что становятся белесыми.

Алик моложе Шурки на полгода. Бледнолицый и хиленький, он внешне смахивает на третьеклашку. А вот глаза у него уже взрослые, и в характере проявляется твердость, ответственность за себя и других.

Шурка хлопнул его по плечу.

— Ну, решено, значит? Соглашаешься?

Алик отрицательно помотал головой.

— Нет, Шурка. Сам ведь знаешь, что не могу... Если бы вот не мама... А то...

Понял Шурка, что не уломать ему друга и на этот раз. Тяжко вздохнув, он достал из кармана штанов увеличительное стекло, сфокусировал солнечные лучи на своей заскорузлой, потрескавшейся пятке. Обожгло ее, видать, здорово! Лицо Шурки сморщилось, и на лбу выступили крупные капли пота. Алик искоса наблюдает за другом, тоже чуточку морщится, но не вмешивается. Шурка с прошлого года начал приучать себя к любым болям, вырабатывает силу воли и поэтому постоянно ходит в болячках, кровоподтеках и ссадинах.

Они сидят на косогоре. Июньское солнце так печет с высоты, что им хочется вновь искупаться.

Шурка начал прижигать через увеличительное стекло вторую пятку. Алику показалось даже, что от нее пошел легкий дымок, и он отвернулся. Он знает Шуркин характер. Если уж Шурка твердо решил стать мужественным, подготовленным к любым испытаниям, то отговаривать его от самоистязания бесполезно. В глазах деревенских мальчишек и девчонок Шурка — герой. Он не только самый высокий и сильный в классе, но и дважды уже сбегал из дому на фронт. Первый раз это случилось в прошлом году, вскоре после того как на его отца пришла похоронка. Ушел он тогда с последнего урока, оставив на парте учебники и записку: «Прощайте все! Ухожу на фронт мстить за погибшего папку. Смерть фашистским оккупантам!»

Задержали его тогда за пятнадцать километров на станции Богданович. Вторично убегал он на фронт минувшей весной. На этот раз его сняли с поезда возле Свердловска. К третьей попытке прорваться на фронт

он готовится капитально, и об этом знает только один Алик.

Шурке очень хотелось бы воевать вместе со своим другом, который бы потом, если Шурка погибнет, смог рассказать всем о его геройской смерти. Пусть вся школа узнает и вся деревня о том, какой он был человек! Но вот Алика не пускают серьезные обстоятельства, и это печалит Шурку...

Перестав прижигать пятки, Шурка лег на живот.

— От тети Настасьи есть что-нибудь?

Тетя Настасья — это мать Алика. У нее больны почки, и месяц назад ее положили в областную больницу.

— Вчера получили письмо.

— Что пишет? Доктора там во какие, не чета нашим, вылечат быстро!

— Оперировали ее.

— Ну?! Во как! — удивился искренне Шурка. Но, видя, как тяжело переживает за свою мать его друг, тут же постарался успокоить его: — Значит, и там неважнецки с лекарствами, если решились на операцию. Понятно, лекарства теперь раненым на фронте нужней. А не пишет, кто ей операцию делал? Профессор, небось! Там, в областной-то больнице, работают одни профессора и ученые. Это уж я во как знаю! Коли они решили у тети Настасьи почки резать, значит, здоровье ее теперь обязательно на поправку пойдет...

Шурка не раз слышал от односельчан о том, что не так просто попасть в областную больницу, что в ней работают какие-то особые доктора, да и лекарства там, в областной больнице, тоже якобы даются особые, о каких в районных и сельских больницах даже не слыхивали...

Молчит Алик, тревожится за мать. Хоть и пишет она в письме, что все у нее теперь будет в порядке,

но придется ей пролежать после операции под наблюдением врачей в этой больнице еще с месяц.

Семья Алика эвакуировалась на Урал в самом начале войны. Дождливым осенним вечером подошел их тяжелый многовагонный эшелон к перрону небольшой промежуточной станции Кунара. Станция была запружена телегами и лошадьми: эвакуированных тут уже ждали. Какие-то люди в дождевиках суетились по перрону, командовали: «Первый, второй и третий вагоны, пока оставаться на своих местах! Выгружаться будете в последнюю очередь! Седьмой вагон садится на подводы колхоза «Комбайн»! Четвертый вагон — на подводы деревни Знаменка! Двенадцатый вагон...»

Шурка помнит, как уже в сумерках притащился в их деревню обоз с эвакуированными, как сочувственно встретили их деревенские, и всем нашлось место в избах. Аликову семью приютила в своей небольшой избушке полуслепая бабка Ариша. У Анастасии Петровны кроме Алика еще двое детей: семилетний Мишутка и Зойка, которой скоро исполнится три годика. Бабка Ариша своими постояльцами очень довольна. Нешумливые и некапризные, относятся к ней, как к родной. А что еще надо одинокой старушке? Детей у нее нет, замуж из-за врожденной слепоты она так и не вышла...

— Ты бы съездил к ней, попроведал.— Шурка опять достал увеличительное стекло и начал наводить белое пятнышко на ладонь.— В больницах-то по нонешним временам не особенно кормят. А ей теперь питание надо во какое, жиров побольше...

Иногда завидует Алик своему другу. Шурка практичнее его и рассуждает как взрослый. Он всегда готов найти выход из затруднительного положения, всегда будет рядом, если кто-то в беде.

Алик тоже лег на живот, но в ответ лишь тяжко вздохнул. Он и сам понимает отлично, что маме сейчас крайне необходимо усиленное питание. Но где его

взять? Ни денег у Алика, ни вещей, которые бы можно было променять на мясо и масло. Эвакуировались они неожиданно и поспешно. Подкатила тогда к их дому забитая плачущими детьми и женщинами полуторка, и встревоженный отец с растерявшейся матерью с трудом втиснули Алика, Мишку и Зойку в кузов. Анастасия Петровна еле успела вскочить на подножку полуторки, как та рванулась, скрыв отца поднятой колесами пылью. А где-то невдалеке гремело и грохотало, в небе кружились самолеты, дорога была запружена повозками, беженцами, скотом. Люди говорили, что в направлении городка, где жил Алик, прорвались немецкие танки. Потом их поезд бомбили не раз, и Алик собственными глазами видел, как вытаскивали из горящих вагонов раненых и убитых.

Отец Алика военный, командир саперного батальона. Он так и остался там отбивать натиск фашистских танков. Что с ним случилось дальше — ни Алик, ни его мать не знают. По сводкам их городок уже давно под оккупацией.

— Слушай, Аль, во выход есть! — вдруг обрадовался Шурка и так треснул по шее Алика ребром ладони, что тому стало больно.— Давай рыбы наловим, бабка Ариша изжарит ее, и ты отвезешь тете Настасье. Во как получится! Рыбий жир ей сейчас во как нужен!

Алик задумчиво посмотрел на друга.

— Как же наловим, если крючки-то у нас с тобой самодельные, из проволоки, и на них не всякий пескарь попадается. Вот если бы настоящие удильные крючки раздобыть... Вот если бы...— Алик достал из кармана изящный перочинный ножик с набором из консервовскрывателя, шила, отвертки.— ...Вот если бы найти кому его променять на заводские крючки...

От неожиданности Шурка даже сел. Перочинный нож — единственная драгоценность его друга. Алик хранит эту реликвию пуще глаза. Тогда, в последний

момент у полуторки, отец сунул ему в карман на прощание свой перочинный нож.

— Ты это брось! Даже и думать об этом не смей! Да мы с тобой и так рыбу добудем. Я попрошу удочки у деда Матвея. Хоть он и жмот, но по такому случаю...

Шурка не знает, что же можно еще предпринять в крайнем случае, но ему очень уж хочется помочь Алику. Устремив запечалившиеся глаза туда, на излучину реки, он размечтался:

— Э-эх, гранату бы нам с тобой противотанковую или бомбу! Мы бы так шандарахнули в омуте возле плотины, что появилась бы у нас с тобой всякая рыба навалом! Там во какие окунищи водятся, щуки в полтора метра и даже язи! Я бы тогда и себе на дорогу запасся, и вам бы тут во как хватило! Накоптили бы мы ее, навялили, насолили...

Ох и фантазер этот Шурка! Воображение его работает что надо! Зимой возомнил он себя летчиком, приделал к санкам фанерные крылья, раскатился с горы и, вместо того чтоб спланировать, кувыркнулся с обрыва вниз головой. Он тогда губу рассек, и потом у него долго шея болела. То он как-то задумал смастерить ветряной двигатель, собирая по деревне всякий железный хлам для этого. С месяц плотничал и слесарничал в амбаре, но потом бросил эту затею, потому что не мог найти для передачи велосипедную цепь. А весной нынче взбрело ему в голову искать в речке золото, чтобы сдать его в фонд обороны страны. Две недели они с Аликом промывали в банных ковшах речной песок, но так и не обнаружили в нем ни единой крупинки дорогого металла...

— А в лесу уже появились ягоды и маслята...— задумчиво сообщил Алик, пряча в карман перочинный нож.— Не хочешь сходить?

Но у Шурки в голове опять какие-то идеи, и он не слушает друга.

— Послушай, а что это за ружье у вас в чулане стоит?

— Ружье? Да это племянника бабки Ариши. Когда он на фронт уходил, ей под сохранение оставил. А что?

— Заряженные патроны к нему есть?

— Не знаю,— пожал плечами Алик, не догадываясь, к чему это клонит его дружок.

— Идем к вам!

Алик насторожился.

— Рыбу, что ли, порохом задумал глушить?

В глазах у Шурки радость и самодовольство.

— Рыбу? Бери выше! В жизни не догадаешься!

— Тогда ничего не пойму...

Глаза Шурки загадочно улыбаются. Иногда находит на него высказываться загадками, туман подпустить.

Но на этот раз он не стал мучить Алика.

— Э-эх, голова садовая! Да если к ружью есть заряженные патроны, тогда во как будет тебе и мяса и рыбы! Уразумел?

Ничего не уразумел Алик.

— Бабка Ариша не разрешит променивать ни ружье, ни патроны...

— Ты, Алька, тупая пешня! Нисколечко бестолковка твоя сегодня, как погляжу, не работает. Зачем променивать, когда из него стрелять можно? Ты знаешь, в Батеневском углу сколько водится зайцев? Тысячи! На каждом шагу попадаются! Во как! А уток там сколько по сограм, болотинам! Да если хорошенько и правильно целиться, то их можно цельный воз настрелять! Ты когда-нибудь стрелял из ружья?

— Стрелял... Только в тире, с папой...

Шурка никогда не видел настоящего тира и имеет о нем смутное представление. Но если Алик сын военного и тем более что уже стрелял в тире — значит, на него можно вполне положиться.

— Тогда все в порядке! Первым стрелять будешь ты. А потом научишь меня. Договорились?

— Но ведь охота сейчас запрещена?

— Фью-у! — присвистнул Шурка и далеко швырнул попавшийся ему под руку камушек.— Запрещена! Для кого-то, конечно, запрещена, но для некоторых случаев в охотничьих правилах есть исключения! Это уж точно!

— Выдумываешь. Ну в каком, например, случае? — взглянул искоса с недоверием на Шурку Алик.

— Например? Например, вот в таком: не помирать же человеку с голоду, если у него есть ружье, патроны, а зайцы сами так в чугунок и просятся! — Шурка опять нащупал позади себя камушек, широко размахнувшись, швырнул его и пропел: — Ладушки-ладушки, есть ружье у бабушки! С Алькой мы его возьмем и... Поднимайся давай, идем к бабке Арише!

Они вышли за околицу деревни чуть свет. Дорога сразу же, за огородами, врезалась в поле озимой ржи. Нынче рожь уродилась густая, стеной стоит, не колыхнется. Ее молодые колосья чуть тронуты краснотою цветения, оттого и кажется, что поле отражает разгорающуюся за горизонтом зарю. Дали еще в сумерках, но звездочки уже стаяли, и по небу блуждают алые тени. По низинкам еще туман колышется. Тишина окрест дремотная. Босые ноги ребят по самую щиколотку утопают в мягкой пыли. Шагается легко и бодро. Ружье приятно давит ремнем на Аликово плечо. В кармане глухо позвякивают четыре патрона. Ворот рубахи у Шурки распахнут чуть не до самых штанов. Штанины засучены выше колена. В руках корзинка для маслят.

Алик любит природу. Оглядывая все вокруг себя, он молчит и о чем-то думает. А о чем — Шурке неведомо. Но молчание тяготит Шурку.

— Зайчатиной и утятиной мы с тобой тетю Настасью теперь во как снабдим! Денег тебе на дорогу не надо. Без всякого билета берусь доставить тебя до Свердловска и даже разыскать там областную больницу. Обещаю даже и обратно оттуда отправить тебя таким же макаром. До станции Богданович ты во как доедешь! Ну а тут уж, считай, дома! Каких-то пятнадцать километров рысцой пробежишь...

Шурке все в жизни кажется достижимо и просто. Но у Алика на душе неспокойно. Никогда еще не ездил он безбилетником, самостоятельно. А ведь до Свердловска сто с лишним километров, да и время такое, что... Не раз видел он, как на станциях милиция ссаживала с товарных вагонов мешочников, проверяла у людей документы.

— Ну что молчишь? Не передумал еще? — подтолкнул Алика плечом Шурка.— Отправлю тебя из Свердловска, а сам оттуда на фронт...

Алик опять помолчал, потом спросил:

— А если поймают и ссадят?

Шурка гмыкнул, улыбнулся снисходительно-криво, одной щекой.

— И что за беда? На другой можно подсесть! Не вздрагивай, брат! Со мной нигде и никогда не пропадешь!

Алик вновь углубился в свои мысли и бахвальства Шурки не слушает.

Утро такое, что не хочется разговаривать. Воздух какой-то парной и тягучий, с густым настоем запахов леса и трав. Заметно плотнеют в низинках туманы, жмутся к земле, а небо становится просторней, выше, светлее. Мгла вдали начинает рассасываться, и сквозь нее вырисовываются контуры леса, полей дальних, кустарников. Примечая все это, Алик нет-нет да и вспомнит о предстоящей поездке к матери. Он не любит принимать необдуманные, рискованные решения.

— Под скамейкой поедем или на верхней багажной полке?

Шурка искоса стрельнул в него взглядом, снисходительно гмыкнул опять.

— Туесок ты, Алька, больше никто! Да какой же дуралей ездит без билета в вагоне? Такого кондуктор или милиция застукают сразу же! Умные ездят на крышах или на товарняке. Соображаешь? И обязательно ночью. Уразумел?

Алик уразумел. Но сомнения его все еще не проходят.

— Если ты вот такой умный, то как же тогда два раза сбегал и оба раза попался? Ты ведь даже до Свердловска доехать не мог?

Шурка поднял на ходу хворостину и начал похлестывать себя по ноге.

— Опыта не имел, оттого и попался. Первый раз меня забрали сразу на перроне. А второй — уже на ходу поезда, в товарном вагоне увидели. Мне бы, дураку, надо день-то где-нибудь около станции скоротать, ночью забраться в вагон, а я полез в него днем...

Дорога пошла под уклон. Стало хорошо видно, как раздваивается она впереди: та, что прямо, ведет к поселку со странным названием «Указатель», хотя из него указывать не на что, а отходящая от нее вправо, в сторону соснового бора, проходит через тот самый Батеневский угол, в котором, со слов Шурки, зайцы попадаются на каждом шагу. Алик уже знает, что такое название «Батеневский угол» дано тому месту по фамилии бывшего хозяина пашни, которая клином врезается в лесной массив.

Коротки ночи в июне, круты и скоры рассветы. Заря располыхалась уже вполнеба. Земля словно вздохнула, дунула ветерком. Качнулась рожь, с легким шелестом покатила волну. Опахнуло откуда-то медом и луговой мятой.

— ...Доберусь вот до фронта и сразу же буду в разведчики проситься или в артиллерию заряжающим,— мечтает вслух Шурка. И вдруг ни с того ни с сего: — Давай-ка ружье, я его теперь понесу. А то как бы оно тебе ремнем плечо не натерло...

Алик плотнее прижал к боку локтем ружье, крепче сжал ремень пальцами.

— Нет, не натрет. Ох и хитрый же ты, Шурка! Так объегорить и норовишь! Мы же с тобой договорились, что туда несу я, а назад твоя очередь.

У Шурки на лице безразличное выражение, и он даже попытался что-то насвистывать. Но Алик видит, что его другу очень уж хочется поскорее заполучить ружье. Но ведь уговор, как говорится, дороже денег! Да и ему, Алику, не особо-то хочется расставаться с ружьем.

После сворота к Батеневскому углу стало хорошо видно лес. Опушка его сплошь в рябиновом белоцветье, а березы стоят словно не проснувшиеся еще модницы: их зеленые косы распущены чуть ли не до самой земли, а стволы белоснежные необычно так подрумяниваются зарей. Зато сосновый массив выглядит густо-зеленым, каким-то таинственным, хмурым, пугающим. И вдруг с той стороны донеслась бойкая, раскатистая песенка птички. Шурка навострил уши.

— Уже четыре часа. Видишь во-он то место, где поле углом врезается в лес?

— Вижу,— охотно отозвался Алик.

— Это и есть Батеневский угол.

— Знаю. Мы с тобой не раз там бывали.

— Так вот, зайцы от нас с тобой не уйдут. Начнем, пожалуй, с уток. Ты не против?

— Мне все равно. А как ты узнал, что времени сейчас четыре часа?

Шурка изогнул в удивлении свои белесые брови.

— Ха! Да тут, возле леса, и часов-то не надо иметь!

Зяблик просыпается всегда первым и запевает ровно в четыре часа.

— Вот здорово! Первый раз слышу! И он никогда не ошибается?

— Можно часы по нему проверять!

— А какая птица начинает петь в пять часов? — спросил все еще с недоверием Алик.

— В пять часов начинает подавать голос перепел.

— Обманываешь ты меня, Шурка! Но откуда ты можешь знать, какая птица во сколько просыпается и поет, если часов у тебя нет?

— А ты об этом у моего деда спроси. Он тоже всю жизнь без часов, а время, в поле ли, в лесу ли, всегда во как скажет! Уразумел? Еще интересует, какая птица во сколько поет?

— Валяй. Только не ври, пожалуйста. А то я иногда тебе не верю.

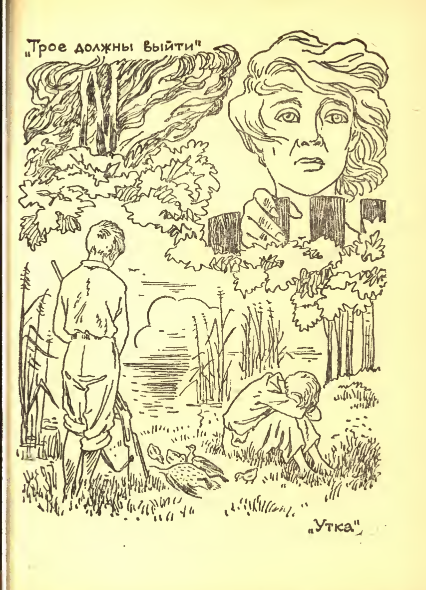
Такое заявление Алика не обидело Шурку. Он и сам знает, что может подзагнуть иногда.

— Так вот, мотай на ус: в половине шестого дрозд просыпается. Ты знаешь, как он поет? Заливается на разные голоса! Бывает, так засвистит, что тебе соловей — заслушаешься! Ну а уж после шести начинает подавать голоса всякая там мелкая шушера. Не во всех птичьих голосах научился я пока разбираться. Трудная это наука...

Интересно все Алику. Много премудростей уже познал он, проживая в деревне. Но сколько еще сокрыто их и неведомо для него! Бабка Ариша, например, по голосу птиц и домашних животных без всякой ошибки предсказывает за несколько часов дождь или вёдро, снег или заморозок, туман...

Ребята подошли к лесу.

Дорога извивается вдоль опушки. Опахнуло тут же спелой земляникой, цветами, ароматным настоем хвои.


„Трое должны выйти"
„Утка"

Шурка ухватил Алика за рукав, попридержал.

— Заряди-ка ружье. Не ровен час — заяц наскочит или попадется глухарь. Глухари любят по утрам собирать на дорогах галечки.

Алик послушно снял с плеча ружье, переломил его, вставил патрон.

— А теперь пойдем так, чтобы ни звука! Уразумел? Ты тоже в оба поглядывай. Ружье наготове держи. Я знаю тут болотце одно с плесиной. Уток на нем завсегда по утрам во как много!

Но за оставшуюся дорогу до болотца с плесиной не встретили они ни зайцев, ни глухарей. К плесу подошли тихо, на цыпочках, с затаенным дыханием. Плесо же оказалось зеркально чистым и казалось необитаемым. Шурка остановился под старой обомшелой сосной и подал Алику знак, чтобы тот тоже лег и затаился в траве. Здесь неприятно пахнет сыростью, мхом, лесной и болотной прелью. Зато комары звенят густо, налетают стервятниками, какие-то особо кусачие.

Плесо само по себе небольшое, слева камыш, справа кочкарник и трава осока. Напротив густые кусты да такой же, как здесь, хмурый лес. А в траве комарья еще больше. Жгуче жалят шею, руки, лицо, ноги босые. Но Алик с Шуркой затаились и терпят.

Откуда-то донесся отдаленный голос кукушки. Алик осторожно повернул голову, чтоб спросить у Шурки, в какое время начинает подавать голос кукушка, но тот приложил к губам палец и указал глазами в сторону камыша. А утки там все еще не появлялись, хотя Алику начало казаться, что они с Шурой лежат тут уже целую вечность. Откуда-то прилетела крохотная серенькая пичуга и ну сновать с камышинки на камышинку. Потом бесшумно, словно привидение, над болотцем пролетела сова. Потом где-то в верхушках деревьев сонно и недовольно прокаркала ворона, и вскоре совсем рядышком, за спиной у ребят, за-

трещала сорока. Утки же все не показываются. Может, их здесь вовсе и нет?

Внимание Алика привлек к себе небольшой черный жучок, взобравшийся на травинку перед самым его носом. Жучок лезет вверх по травинке, временами останавливаясь и забавно шевеля еле приметными усиками...

Толчок Шурки заставил Алика встрепенуться. Он поднял глаза и увидел выплывающую из кочкарника кряковую утку в окружении живых ярко-желтых комочков. Утят подле нее не меньше десятка, и все с любопытством взирают глазами-точечками на не ведомый еще для них мир. Утка-мать, настороженно вытянув шею, тихонько покрякивает, словно внушает им какие-то свои птичьи премудрости.

Новый толчок заставил Алика целиться. Прорезь и мушка никак не совмещались на корпусе утки, как учил это делать папа в тире, но третий толчок Шурки заставил Алика нажать на спусковой крючок. Выстрел грянул оглушительно, резко. Алика сильно ударило в плечо. Сизый пороховой дым закрыл плесо. Запахло кисло и неприятно. Шурка первым вскочил на ноги.

— Алька-а! Молодец! Во как бабахнул, наповал!

Алик тоже бросился к краю болотца. Сквозь рассеивающийся дым он увидел утку и утят. Она лежала на воде, вытянув в бессилии шею, ее крылья подрагивали. А утята, тревожно попискивая, так и плавают подле нее.

Шурка скинул штаны, рубаху, бросился в воду. Утопая по пояс в помутневшей от ила воде, он приблизился к утке, поднял ее и понес к берегу. Оставшиеся в живых утята с писком поплыли за ним. Только четыре перевернутых кверху оранжевыми лапками желтых комочка остались на том месте.

Алик почувствовал, как что-то сдавило ему горло.

Не сводя полных ужаса глаз от плывущих следом за Шуркой утят, он опустился в траву.

Шурка подошел к Алику и, положив подле него утку, начал молча, не торопясь одеваться. А Алик никак не может отвести глаз от желтеньких несмышленышей, неуклюже карабкающихся на берег, путающихся в траве слабыми лапками, ковыляющих к ним с Шуркой.

Алик слышит, как тяжело дышит и сопит носом его друг. А утята уже копошатся в траве у самых его ног и попискивают с каким-то вроде бы недоумением.

Шурка молча поднял с земли ружье и, не глядя на Алика, сказал мокрым, срывающимся голосом:

— Ладно уж... Ничего теперь не поделаешь... Забирай, и пойдем...

Алику показалось, что в сердце его что-то оборвалось, и он, уткнувшись в колени лицом, заревел. Он заревел громко, по-детски, не скрывая боли, отчаяния, злости.



Григорий Бабаков

ТРОЕ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ

Большое красное солнце пылало в туманной дымке. Знойный ветер шумел в деревьях. Пожарище курилось жидким дымом и постреливало последними алыми угольками. В струях раскаленного воздуха порхали лепестки серого пепла. Дышать было тяжело.

Трое суток бригада боролась с огнем. Сегодня шли четвертые. Пожар был потушен. Люди в ожидании вертолета лежали под кустами неподалеку от посадочной площадки.

Бригаду сформировали за десять минут до вылета из Сургута. Народ в ней собрался все приезжий и к тайге непривычный. Трое рабочих из аэродромной команды, два шофера из мехколонны, Гриценко и Федюшин, пожилой механик из ремонтных мастерских экспедиции, да с ним двое токарей. Из сургутских старожилов было всего двое — бухгалтер райпотребсоюза Петр Савватеевич и Валька — шестнадцатилетний ученик слесаря. Старшим назначили бухгалтера.

Бригаду отправили всего на двое суток, но вот уже идут четвертые, а вертолета все нет. Вчера, во второй половине дня, он зеленой стрекозой проплыл над соседним бором и скрылся в дыму. Там на севере тоже был пожар.

Продукты кончились еще позавчера. И если бы не Валька, пришлось бы туго. На радость, в подкладке Валькиной старенькой пилотки оказалось два рыболовных крючка. Лески Валька сделал из волоса, который нащупал в бортовке модного пиджака шофера Гриценко.

— Це дурныця, хлопче! Дурныця,— говорил Гриценко, с сожалением поглядывая, как Валька потрошит его пиджак.

— Не скажи.— Валька важно морщил вздернутый, облупившийся на солнце нос.— Я, брат, рыбак природный!

А вечером, ко всеобщему удовольствию, он приволок окуней. Не принес, а именно приволок. Сделал из сухого соснового сука коромысло и на обе стороны его подвесил десятикилограммовые связки рыбы.

— Ось це гарно! — обрадовался Гриценко.

— Я ж говорил, поймаю! — смеялся Валька.— А ты все не верил.

С утра бригада азартно взялась за топоры и лопаты в таком неистовом темпе, что можно было подумать, будто пожар угрожает их собственному дому.

Валька куда-то исчез, а вернулся минут через двадцать, уселся на валежину и стал точить топор. Топор у него был еще дедовский — с широким жалом и на длиннющей рукоятке. Валька держал топор между ног, и длинное топорище торчало выше его головы. На шутки Валька не обижался. Ведь парни не знали, что этим топором Валькин дед за зиму ставил сотни кубометров лучших дров для Обского пароходства.

Не знали они и того, как дед обучал Вальку владеть топором. Заносить его высоко из-за плеча и всаживать по месту с потягом. Топор винтом вгрызался в древесину, и дерево можно было валить в любую сторону.

Шестнадцать лет! Много или мало? Все зависит от того, как они прожиты. Очень часто мама, рассердившись на Вальку, говорила ему, что по собственной глупости он сам себя лишает детства. Во многом она была права. И двойки в дневнике, и другие школьные неприятности, и желтые табачные пятна на пальцах, и первая попойка с друзьями, такими же юнцами, как он,— многое уже было. Была и горькая обида на самого себя, когда пришлось уйти из школы,— мечтал стать летчиком, а вот пришлось слесарить. Но было и другое, радостное: к чему бы ни прикасались Валькины руки, будь то ржавый болт или березовый пень, всякое дело спорилось. Мама говорила — это наследственное, в отца пошел. И еще Валька любил тайгу. Знал и умел то, о чем горожанин не имеет понятия.

— Чего расселся? За дело давай! — сердито крикнул Вальке бухгалтер. Пот катился градом с лица Петра Савватеевича, а черенок его лопаты уже успел обуглиться.

— Зря воюем,— ответил Валька,— дальше болота огонь не пойдет.— Он подошел к бухгалтеру и палоч-

кой начертил на песке план местности.— Здесь река, тут болото. Ветер с запада. Огонь идет на восток. Между рекой и озером перемычка двести метров. Там и оборону держать нужно.

— Оборону? — переспросил бухгалтер. Ему вдруг вспомнилось пшеничное поле где-то под Орлом, черные клубы разрывов и темные силуэты вражеских танков. Он лежал вторым номером у противотанкового ружья.

Да, это было так похоже. Лавина огня двигалась на тоненькую ниточку окопов, линию обороны второго стрелкового взвода. Как остановили лавину, Петр Савватеевич не видел. Его с крупнокалиберной пулей в плече вынес из боя какой-то совсем незнакомый молодой солдатик.

Дотащил Петра Савватеевича до ближайшего оврага и, указав направление, сказал:

«Надо идти. Тебе на медпункт, а мне обратно. Надо идти, браток»,— повторил солдатик убежденно и пополз вверх по заросшему бурьяном склону...

— Ты прав, парень,— согласился бухгалтер,— на перемычке перехватим огонь. Давай выводи людей!

Валька повел их болотом к берегу озера. Люди опасливо ступали на тоненькую, бледно-зеленую моховую дернину. Под ней переливалась вода, и дернина выпучивалась высоким бугром.

Вот и перемычка. Начали рубить просеку. Валька работал в паре с шофером Гриценко. Они рубили самые толстые ели на дальнем конце просеки, там, где она упиралась в речушку. Почва здесь была побогаче, и ели вымахали огромные. Рослый богатырь Гриценко искренне удивлялся Валькиному проворству. Здесь-то и стали понятны все преимущества дедовского топора. После того как первая ель рухнула на землю, Гриценко подошел и оглядел пенек. Он долго щупал пальцами следы топора и разглядывал ровную винтообраз-

ную линию подруба. Такого ему еще видеть не приходилось.

А Валька все рубил и рубил. Казалось, его тело составляет одно целое с длинным топорищем — единую упругую пружину.

Случилось, как всегда бывает в трудных обстоятельствах. Руководил не тот, кому это положено по штату или по возрасту, а тот, кто больше знал и умел. Таким здесь был Валька. Бригада признала его своим командиром и повиновалась во всем.

А вчера Валька накормил их кедровыми орехами. Шишки еще не поспели, но Валька наколотил их целый мешок и высыпал в костер.

— Королевская пища! Жареный кедровый орех молочно-восковой спелости,— торжественно рекламировал парень свое блюдо.

Бригада навалилась на жареный орех. В самом деле, он был очень вкусным. Только руки и губы мигом стали коричневыми от горячей кедровой смолы. Шофер Федюшин ухитрился перепачкать даже нос.

И вот сейчас они лежали на краю болота и ждали вертолет. Пожар потушили, но дымки, что стлались над пожарищем, заставляли побаиваться, как бы он не разгорелся вновь.

«Теперь бы дождичка хорошего»,— думал Валька. Он прилег возле курящегося пня, чтобы комары не так одолевали, и внимательно следил, как, догорая, покрываются тоненьким слоем серого пепла угольки под пнем.

— Торчим тут, как проклятые! — сказал один из токарей.— Тоже мне лес. Кому он такой нужен. Хоть весь сгори. Никто его не возьмется вывозить отсюда.

— Та цить вы! — вскочил вдруг на ноги Гриценко.— Чуете? Летыть!

Да, это был вертолет. Сперва он проплыл высоко

над деревьями. Заложил крутой вираж. Потом снизился и стал заходить на ветер со стороны болота.

Пока пилоты выполняли все эти маневры, бригада подхватила свои инструменты и поспешила к посадочной площадке. Люди уже успели простить вертолетчикам двухдневную задержку. Они весело махали шапками и радостно кричали.

Посадка была трудной. Вертолет долго висел над площадкой, занося хвост то в одну, то в другую сторону. Валька заметил, как от ветра, поднятого вертолетом, веселей закурилось пожарище. Алые искры, вырванные из-под пней, замелькали в воздухе. Наконец винты затихли и дверца распахнулась. Тоненькие стрелочки усов разметнулись над белозубой улыбкой техника:

— Живей, живей, кацо, давай!

Бригада погрузилась в вертолет. Дверца захлопнулась, и техник повис на своем сиденье позади пилотов. Вновь закрутились, взревели винты. Люди видели себя уже дома, ведь лету здесь всего сорок минут.

Гриценко представлял, как возьмет веник да отправится в баню. Часа два будет париться, чтобы смыть с себя гарь и копоть. Да еще смолу от Валькиной «королевской» пищи. Он с неудовольствием осмотрел коричневые ладони.

Винты продолжали вращаться. Машина дрожала мелкой дрожью, но не отрывалась от земли. Мотор еще раз взревел, и пилот сбросил газ.

Командир обернулся к технику:

— Жара! С таким грузом не взлетим.

Дым все гуще застилал площадку. Он уже клубился возле самой кабины вертолета.

— Ты понял, Миша? — спросил командир.

Миша понял все. Если через пять-шесть минут машина не покинет эту проклятую площадку, она вспыхнет и сгорит.

Миша отстегнул ремень своего сиденья и спустился в брюхо вертолета. Теперь он не улыбался, и его тоненькие усики торчали в стороны, словно два маленьких кинжала.

— Трое должны выйти! Командир приказал!

Люди не пошевелились. Они сидели, плотно прижавшись друг к другу, единые в своем желании поскорее выбраться домой. И страшно им было нарушить это единство. Страшно вновь остаться наедине с тайгой.

— Я вам русским языком говорю, взлететь не можем. Кто старший?

Люди молчали. Миша бегом бросился к кабине. Командир встретил его холодным, уничтожающим взглядом. Теперь Миша знал, что ему делать. Алой краской налилась короткая шея под белоснежной сорочкой.

Пока он бегал, с места сорвался Валька. Гриценко пытался его удержать, но Валька так рванул рукав, что только швы затрещали. Голубые Валькины глаза стали вдруг темными. Они зло сверкали из-под сбитой набекрень солдатской пилотки.

— Надо выйти! — крикнул Валька.— Ну! — он обвел взглядом свою бригаду.

Люди отворачивались. Здесь, в вертолете, этот самоуверенный пацан для них больше не командир.

И Валька понял это. Он круто повернулся, распахнул дверцу и выпрыгнул из вертолета.

— Что ты делаешь, мальчик? — вскричал Миша, потрясая кулаками, и побежал по проходу. Он выпрыгнул следом за Валькой и захлопнул за собой дверь.

И тут же вновь заревели винты. Машина дрогнула и оторвалась от земли.

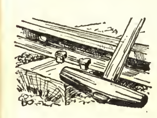
Отсутствие техника пилоты заметили, когда вертолет был уже высоко в небе.

— Бестолочь,— выругался командир. Он связался с портом и доложил о случившемся.

За всю дорогу никто из бригады не произнес ни слова. Каждый думал о своем. Петру Савватеевичу под рокот мотора все мерещилось то пшеничное поле на Орловщине и неизвестный солдатик, вытащивший его из боя. Ему казалось, что тот солдатик был очень похож на Вальку, такой же вздернутый нос, и глаза...

От вертолета пошли поодиночке. Они не ощущали радости возвращения на Большую землю. Цепочкой прошли сквозь узенькую калитку забора, ограждавшего летное поле. И никто не обратил внимания на русоволосую, еще довольно молодую женщину в светлом сарафане, которая стояла у самой калитки. Горячий ветер играл подолом сарафана и растрепал волосы, а она все смотрела на прилетевший вертолет.

Это была Валькина мама.



Раиса Лыкосова

ПРОСЕКА

Лосенок проснулся от утренней свежести. Мать-лосиха еще спала. Влажный ветерок покачивал голые кусты, шевелил отсыревшие за ночь вороха палых листьев.

По небу протянулись красноватые полосы, и верхушки сосен затеплились. Лосиха проснулась, встала на ноги и, обнюхав лосенка, лизнула его теплым шершавым языком. Он поднялся, потянулся, разведя тоненькие длинные ножки, ткнулся мордочкой ей под брюхо.

На полуобнаженные осины, березы, черемухи хлынул ливень света. Сильнее запахло прелой травой. Зачокали дрозды, щелкнула сорока, проворный поползень пробежал по стволу ольхи. Лоси направились в распадку к месту утреннего водопоя и кормежки. Ручей, журчащий по дну ложбины, еще недавно скрытый зарослями молодого малинника и крапивы, теперь просвечивал до рыжего галечника. Когда-то здесь текла река. Пожар оголил берега ее. Река высохла, и на выжженном черном берегу осталось лишь несколько обгорелых деревьев да местами буйно пробивалась осиновая поросль. Лосиха наклонила к воде длинную горбоносую морду и начала пить, фыркая и отдуваясь, чтобы отогнать плавающие листья. Серые бока ее то опадали, то поднимались, будто огромные мехи. Лосенок лениво пожевал незнакомую ветку и выпустил. Он уже знал, какие травы и стебли можно есть, знал, что каждая травинка и каждая ветка имеют свой запах и вкус. Особенно ему нравились остролистый кипрей, сочная осока и нежный ивняк.

На водопой лосиха уводила лосенка далеко от стойбища. Вода в ручье была чище, чем в озере, на берегу которого в светлом ольшанике жили лоси. Обратно лосенок шел впереди и сам находил дорогу. Еще издали различал среди многочисленных лесных запахов родной, устоявшийся запах ольхи, багульника, пропахшей лосиным потом земли. Здесь всегда пахло свежестью. И утром, когда озеро дымилось, и в полуденную жару. Недавно на мшистых кочках он нашел незнакомые красные ягоды, но они оказались кислыми и невкусными.

В этот день в жизни лосенка произошло нечто необычное.

После водопоя лосиха лакомилась палыми листьями, выбирая их тут же, в ручье. Лосенок, привалившись к сухой краснокорой ольхе, почесывал спину.

Вдруг лосиха подняла голову и насторожила длинные уши. Неясный незнакомый шум заставил вздрогнуть и лосенка. Ничего не понимая, он посмотрел на мать. Темные глаза лосихи застыли в тревожном ожидании, уши чуть заметно вздрагивали. И вот отчетливо послышались звонкие удары и монотонный неприятный визг. Звери осторожно поднялись из лощины. За несколько часов знакомый лес изменился. В бледном небе неярко светило солнце, а высокая лесная гряда густо дымилась, как по утрам дымится болото. Между зелеными соснами плясали оранжевые языки костров. Рычали машины, гулко, со стоном падали разлапистые деревья.

«Люди? Зачем они здесь?» — встревожилась лосиха. С тех пор, как вожак увел их стадо далеко от селений, она не видела людей.

Спустившись вниз по ручью в глухую урему, лоси целый день прислушивались к новым звукам. Несколько дней они ждали, когда уйдут люди. Но тайга все больше наполнялась голосами, запахами машин и горелого леса.

Однажды все стихло. Звери хорошо знали, что и в тишине таится опасность. Настороженно прислушиваясь, вышли из лощины. Лосенок остался лежать в густом ельнике. Поднявшееся солнце заглянуло в тенистый ельник. Лосенку захотелось есть. Он встал и пошел к ручью. Увидев ивовый куст, остановился. Быстро забирая мягкими губами молодые побеги, потянулся за веткой. Но внимание его привлек новый неприятный звук. .

Лосенок, подняв голову и насторожив тонкие уши, прислушался. Привычно шумела тайга. А новый звук нарастал. Все отчетливее, все громче.

Тах-тах-тах-тах! Тах-тах-тах-тах! Гул стремительно приближался. Казалось, он шел откуда-то сверху. Лосенок высоко задрал голову, но небо было чистым,

лишь неярко светило солнце, плыли редкие облака да парил ястреб

Подул ветер. Сильная струя воздуха, нахлынув, толкнула лосенка в бок. Он выскочил на поляну. И тут его накрыла тень большой птицы. Лосенок, жалобно фыркнув, понесся вперед через кусты и поляны. Не отставая, тарахтя и снижаясь, птица неслась за ним. От сильного ветра волнами качался ивняк, клонились к земле молодые осинки. Но вот в глаза бросились темные пятна воды, бурые в красных ягодах кочки. На какое-то мгновение лосенок смешался, сбавил скорость и тут же пошел махать прыжками с кочки на кочку. Впереди ослепительно блеснула темная полынья, прыжок — и задние ноги его провалились в холодную липкую жижу. Почувствовав под брюхом твердую кочку, лосенок инстинктивно вытянулся. Теперь его оглушила тишина. Уловив за спиной шорох, дернулся, сделал усилие, чтобы подняться, тонкие ноги его еще больше увязли. Лосенок жалобно фыркнул, насторожил уши, силясь различить в этом шорохе знакомые шаги матери. Зашумели кусты, и он увидел людей. Их было двое: маленький и большой. И они приближались. Лосенок дернулся несколько раз и замер, какая-то сила цепко держала его ноги.

— Руби ольху, Вася. Да не спугни, враз засосет.

Послышался стук топора. Лосенок беспокойно завозился, вздрагивая и озираясь. Вдруг рядом, почти у самого уха его, что-то хлопнуло, и лосенка обдало грязной водой. Он снова дернулся, чтобы вскочить, и почувствовал, как кто-то гладит и приподнимает его.

От страха лосенок мало что понимал. Он только дрожал и зябко поводил ушами. Вот что-то стянуло его по животу и спине, сильным рывком выхватило из трясины.

Почувствовав твердую землю, лосенок попытался подняться, ноги не слушались.

— Бедняга, куда запоролся,— наклонившись над ним, большой улыбнулся и начал очищать с него еловыми ветками грязь. Маленький тоже вертелся тут. Он гладил лосенку голову, толкал в рот что-то мягкое, по запаху, кажется, вкусное. Лосенок успокоился, понюхал лежащие на ладони маленького кусочки, забирая губами, начал их есть.

— Смешной ты, однако. Голова рыжая, ноги рыжие, а сам серый. Один по тайге бродишь,— гладя лосенка, снова проговорил большой.

— Давайте возьмем его, Михаил Евгеньевич. Топтыгин вчера на заре прямо к палаткам пожаловал. Пропадет малый без матери.

— Стоп, Василий! Похоже, лосиха сквозь чащу ломится.

Тревожно всхрапывая, словно предупреждая лосенка об опасности, на поляну выскочила лосиха. Настороженно вскинула голову, остановилась, часто дыша. Длинные уши ее вытянулись, чутко и жадно ловя звуки.

— Василий, пошли! Не ровен час саданет копытом.

— Да уж будь здоров, припечатает.— Люди, тихо переговариваясь, скрылись в кустах. Лосиха почему-то выжидала. Тогда лосенок сам, медленно переступая тонкими мокрыми ногами, направился к ней.

Мать застыла на месте и, широко раздувая ноздри, уставилась на него большими темными глазами. Потом подошла, легонько толкнула головой, начала лизать его мокрые бока и ноги.

Шли дни, голоса и грохот все больше наполняли тайгу. Рычали машины, стонали и падали деревья. Над голыми делянами торчали желтые пни, стояли белесые столбы дыма. Голоса людей и рычание машин откатывались все дальше и дальше, туда, где зубча-

тые вершины сосен упирались в серое осеннее небо. На месте темной лесной гряды теперь молчаливо светлела широкая просека.

Лоси всем стадом ушли с озера. Часто меняли места стоянок. Лосенок не привык к большим переходам и уставал. Больше уже не слышно было ни голосов, ни гулов. Над головами спокойно шумел вековой лес.

Жили лоси теперь небольшим стадом у таежной реки. Низкий берег ее сплошь покрывала густая осока. У самой воды рос краснотал, роняла коричневые сережки ольха, темнели обсыпанные черными ягодами черемуха и крушина. Другой берег, обрывистый, глинисто-красный, окаймляли хмурые кедры.

Река в этом месте делала петлю и умеряла свой бег. Высокий берег ее, поросший сплошной стеной дремучего леса, с трех сторон укрывал стойбище от сильных ветров. Суровым и неприветливым казался этот темный кедровый урман. А в том лесу все было родным: жужжали над пестрыми коврами цветов пчелы, квакали на озере лягушки, пригревало солнце, и теплый воздух, настоенный на травах, смоле и хвое, был особенно ароматен.

В кедровом лесу с каждым днем становилось безмолвнее, мрачнее. Однажды ночью, проснувшись от резкого холода, лосенок увидел, что в лесу кружит метель. Утром взошло солнце, и множество ослепительных синих искр ударило ему в глаза. Потрясенный неожиданным зрелищем, лосенок потоптался на месте, понюхал белое пушистое покрывало.

Иногда лохматые снежинки целыми днями неслышно падали и падали сверху. Скоро на месте темных кустов торчали искристые сугробы, голубел на реке толстый лед, а хмурое небо, повисая низко над лесом, казалось, задевало широкие вершины поседевших кедров.

В конце марта потеплело. Снег посинел и набух. К ночи его охватывала твердая корка, которая держалась почти до полудня.

Почуяв весну, звери оживились. Даже месяц и звезды, словно сговорившись, начали улыбаться ярче и шире. Вечером, едва успевало темнеть и от деревьев протягивались легкие тени, на реке собирались зайцы. Они прыгали и кувыркались.

Лес менялся поразительно быстро. С юга на север по небу тянулись косяки перелетных птиц. В воздухе целыми днями стоял перезвон: писк, свист, крики и чокот сливались с плеском и шумом бурливших оврагов.

От этого звона, непонятной тревоги и радости лосенок совсем ошалел. Он то, замирая, слушал весеннюю музыку, то вдруг, срываясь с места, во весь дух пускался по берегу, высоко подбрасывая задние ноги, то с налету врезался в непролазную чащу, оставляя на кустах клочья темно-бурой зимней шерсти. Когда, обессиленный, он подходил к матери, глаза его все еще были дикими, тело часто вздрагивало. Это была его первая весна.

Так шли недели, месяцы, годы. И лосенок превратился в могучего лесного красавца. Рыжую голову его украсили огромные лапчатые рога и густая грива.

За эти годы ничто не нарушило покоя зверей. Лишь однажды они натолкнулись на просеку. Странная это была просека. Здесь, как и в лесу, лежал пышный нетронутый снег, только в самой середине ее тянулась черная полоска земли, и она чуть заметно парила. Обнюхав влажную землю, лоси потоптались на месте, оставляя на белом снегу черные отпечатки широких копыт. Иногда рядом с просекой тянулось множество отпечатков узких оленьих копыт, иногда ее пересекала замысловатая вязь лисьих следов.

В лесу для лося уже не было загадок и тайн.

Но ранней весной, когда молчаливый и хмурый урман оживал от шума полой воды, от разноголосицы птиц, неясное беспокойство и радость наполняли и тревожили его всякий раз.

Зимний день быстро таял в ранних таежных сумерках. Ветер гнал легкие струи снега, чуть слышно гудя в вершинах. Стадо уснуло, лишь серый вожак, крупный, матерый лось, полузакрыв глаза, бодрствовал.

Вот уши его вздрогнули, вытянулись в струнку. Сквозь привычный шум леса явственно проступали чужие, неведомые звуки. Беспокойно закачали широкими лапами кедры. Воздух наполнился движением. Раздался оглушительный взрыв, и по лесу прокатился могучий рев... Внезапный свет ослепил серого вожака. Звери вскочили, тревожно озираясь. Высоко задрав тяжелорогую голову, вожак потянул воздух: нет, то был не пожар, запах горелого леса он хорошо различал.

Несколько сильных прыжков, и серый рогач выскочил на высокий берег. Над лесом, там, где река текла шире и делилась на два рукава, стояло ослепительно белое зарево. Крупной рысцой вожак вынес свое стройное тело на голую вершину холма. И далеко стало видно вокруг. В сероватом свете, какой бывает сумеречным зимним днем, на много километров темнела тайга. На самом краю видимого черную тайгу обрывала широкая белая просека. Над нею стремительными рывками, то взметываясь на гигантскую высоту, то чуть опадая, будто живое, плясало и билось половодье огня. И оттуда упруго и непрерывно катился могучий рев.

Все, что уже не первый год тревожило старого лося, рождало в нем чувство необъяснимого страха — стон падающих деревьев, проплывающие над лесом громоподобные птицы, разрезающие тайгу прямые и широкие просеки и, наконец, огненно-белый ослепительный фонтан огня — все это в его сознании, свя-

зываясь между собой, образовало какой-то загадочный круг, в центре которого находился человек.

Серый вожак много видел, и у него было немало врагов: лесные пожары, мучительные голодные засухи, волки, рыси, медведи. Но не было ничего страшнее и непонятнее человека...

И вожак повел стадо дальше на Север.

Лес заметно менялся. Сосны и кустарник исчезали. Реже встречалась ольха. Чаще стали попадать озера и пустоши.

И этот лес не был похож на прежний. Зеленые кроны тонких елок и пихт начинались высоко над землей. Голые стволы корявились сучьями и кривились. Чаще их покрывал седой бородатый лишайник. Вывороченные бурей с корнями или сваленные ветром сгнившие деревья, заметенные снегом, образовали высокие глухие завалы. Снежный покров становился все выше, морозы усиливались. Трудно было передвигаться по такому лесу даже лосям.

Потом наступили сильные холода. По ночам треск лопнувшего дерева громом рвал стылую тишину. В молочно-дымчатом небе плавало тройное солнце. В такие дни лоси грелись постоянной едой. Грубая пища, кора и побеги тала плохо насыщали зверей. Лоси ослабли, крутые бока их ввалились. Особенно трудно перенесла переход серая большая лосиха, мать молодого рыжеголового рогача, и несколько поздних лосят. Старая лосиха храпела и кашляла, тяжело поднималась по утрам. Иногда подолгу стояла или лежала на одном месте, и тогда темные большие глаза ее равнодушно смотрели на кусты и деревья, на снег, на стадо и даже на молодого рогача, ее сына. По утрам, когда стадо уходило в поисках пищи, старая лосиха настороженно поднимала голову, вслушивалась в удаляющиеся шаги. И тяжело вздыхала. Иногда рыжеголовый не выдерживал ее грустного взгляда и, отойдя на некоторое

расстояние со стадом, поворачивал обратно, возвращался к матери. Заметив его, она радостно поднимала голову и косила взглядом. Он делал круги около стойбища, выискивая редкие необъеденные ветки кустов. Найдя необглоданный куст, весело фыркал, поворачивал могучую красивую голову и долго смотрел на мать, пока она, тяжело переступая опухшими в суставах ногами, не подходила к нему и не начинала жевать побеги.

Прошла зима, а звери все шли и шли. Трудно найти в таком лесу постоянное место для стойбища. Перекочевывая, лоси меняли места стоянок.

Весной вытаяло множество озер и болот. Мертвые деревья зарастали травой, мхом, лишайником, годами разлагались в застойной ржавой воде. Пропитанный гнилыми испарениями воздух был тяжелым и влажным.

Иногда звери заходили далеко на Север. Так, однажды они увидели голую равнину, где все казалось необычным для лесных хозяев: редкие островки леса, многочисленные озера и бесконечный день.

В кривых низкорослых деревцах трудно было узнать родные березы и ели. Куда-то исчезли ночи. Солнце лишь опускалось к горизонту и, не коснувшись его, опять ползло вверх. И его холодный желтый свет разбавлял сероватые сумерки равнины, поблескивая на камнях-голышах, обнажая темные пятна озер и редкие стволы чахлых деревьев.

Умерла старая лосиха летним днем на топком, грязном, размытом дождями берегу озера. Когда звери уходили с озера, лосиха, согнув ноги в коленях и подбирая их под себя, попробовала подняться, но не смогла.

Берег опустел, лишь сонно всхлипывало озеро. Темнели широкие ямы следов, затягиваясь топью и грязной водой. Молодой лось подождал, но мать на

этот раз ни разу не оглянулась. Голова ее клонилась все ниже и ниже. Рыжеголовый рогач крупной рысью обогнал стадо и преградил вожаку дорогу. Серый вожак оскалил зло зубы, выгнул могучую шею. Он ждал. Глаза его начали наливаться кровью. Рыжеголовый резко мотнул головой, опустил низко рога, уставился в лоб вожаку. Удар, и загремели, сшибаясь, рога. После нескольких ударов попятился рыжеголовый, уступая дорогу сильному, а может быть, его отвлекла забота о матери. Он возвратился на берег, тихо обошел вокруг матери. Лосиха лежала теперь, уже вытянув ноги и шею. Рыжеголовый наклонился и длинной горбоносой мордой тихонько толкнул мать в потную спину. Но старая лосиха уже не откликнулась. Она не видела сына, не слышала, как визгливо кричали на озере чайки.

Ветер высушил мокрые мыльные бока лосихи. Широкие лунки следов, наполненные грязной водой, подернулись радужной пленкой. Несколько раз зовуще мыкнул молодой лось и, тяжело переступая длинными рыжими ногами, медленно побрел за стадом.

Теперь при виде вожака молодой рогач ощущал прилив незнакомой ему до сих пор злой, яростной силы. Она беспокоила его, горячила кровь, требовала выхода. Старый вожак, будто чувствуя это, завидя молодого быка, тоже косил злым подозрительным взглядом. Оба чувствовали: внезапная стычка должна кончиться настоящим боем.

Случилось это ранним утром. В лесу еще клубился туман, надрывая сердце, кричал на озере отставший от стаи чирок. Где-то лаяла, загнав в валежник добычу, лиса. Рыжеголовый выскочил на широкую мшистую поляну, запрокинул на спину тяжелые рога и, горячо раздувая широкие ноздри, рыкнул во всю могучую грудь.

Яростна, ослепительна была его схватка со старым серым быком. Высоко взлетали земля и мох от ударов

широких копыт. Сшибаясь, гремели рога. С горячих губ хлопьями срывалась белая пена. Но не окрепли еще у рыжеголового мускулы для осенних боев, не уступил старый вожак в бою молодому. Бой выявил равных.

Гордо оглядел рыжеголовый озеро, лес, поляну — все теперь принадлежало ему в такой же степени, как вожаку. Но не могло быть в одном стаде двух вожаков. И, подчиняясь своему таинственному закону, звери разделились: одни пошли за старым вожаком, другие — за рыжеголовым.

Осенью над лесом потянулись шумные стаи птиц. Все длинней становились вереницы гусей, уток, чаек. Иногда птицы садились на озеро, на берегу которого в последнее время жило стадо рыжеголового. От взмаха сотен крыльев плескалась вода, звенел на разные голоса упругий от движения воздух.

По небу все тянулись и тянулись перелетные стаи и кричали зовуще, тревожно. Они летели в ту сторону, где остались родные для лосей места. Там сейчас в сиреневой дымке простора насквозь светился пронизанный солнцем ольшаник.

Скудная грубая пища, кора и троелистник, напоминала о нежном ивняке, сочных осоках, кипрее. И молодого вожака потянуло в родные места. Может, сила инстинкта, может, какое-то другое неясное чувство говорили ему, что идти дальше некуда.

Обратно он вел стадо по тем же местам. Чаще стали попадаться в лесу машинные дороги. По мере того как ближе становились родные места, молодой лось все чаще вспоминал встречу с людьми.

Было еще светло, когда лоси переплыли большую знакомую реку. Всего несколько километров отделяло их от родного ольшаника. Звери оживились и затрусили крупной рысью. Ноздри их, широко раздуваясь, казалось, уже ловили знакомый запах болота, когда

дорогу пересекла просека. Стадо остановилось, ожидая сигнала вожака. Молодой лось вышел на полотно железной дороги, прислушался. При свете луны поблескивали стальные рельсы, темнели деревянные шпалы. Сквозь кряжистые сосны совсем близко горели желтые огни. Было тихо, только вверху гудели натянутые на высоких столбах провода. Вожак пошел по насыпи рядом с рельсами. За поворотом просека раздвинулась, показалось белое каменное здание с широкими желтыми окнами. Стальной путь разделился на три таких же пути. На одном, что был ближе к вокзалу, стояли зеленые вагоны. В их окнах тоже светились желтые огни. На другом, что был ближе к лесу, поблескивали светлые металлические цистерны. Рядом с ними темнела лужа. Вожак зашел в лужу, потянул воздух. Тяжелые радужные круги пошли по воде. Он помнил разную воду: самую первую, которую пил лосенком из светлого ручья, такую чистую, что просвечивала до рыжего галечника, и ту родниковую, что несла река в хмуром кедровом урмане, пахнущую снегом или осокой, талом, черемуховым листом. И ржавую, что приходилось пить из болот, и чуть мутную, отдающую тиной и илом, из медленных зарастающих речек. Черной воды он не видел. И запах ее был неприятен ему. Лось отошел, обходя светлые цистерны, направился к тому месту, где его ждали звери.

В это время из белого дома с большими желтыми окнами вышли люди. Увидев его, остановились, замахали руками и начали что-то между собой говорить. При звуке их голосов его охватило волнение. Но по-прежнему не было страха. Высоко вскинув рыжую тяжелорогую голову, кося большим темным глазом, лось неторопливо прошел мимо людей.

Вернувшись на то место, где он взобрался на насыпь, молодой вожак остановился. Встал поперек железнодорожного полотна и, высоко задрав голову,

весь превратился в чутье и слух. В этом незнакомом лесу он все-таки отчетливо различал запах прежнего стойбища. И вожак повел стадо на этот запах.

Скоро звери вошли в ольшаник.

По-прежнему спокойно дремало озеро. Блестела широкая лунная дорога на сонной воде. Неторопливо покачивали густыми лапами ели. Чуть слышно позванивали на ветру сережки ольхи.

Вот в мерный шум леса незнакомо вплелись притушенные расстоянием новые звуки: протяжно пропел гудок тепловоза, медленно нарастая и так же медленно удаляясь, простучали стальные колеса. И снова все стихло.

Осторожно, стараясь не замутить воду, лоси вошли в озеро.

Пили долго и сосредоточенно.



Николай Никонов

ЗЕМЛЯ — ЭТО ЛЮДИ

Еще неизвестно, кто кому служит:
кукуруза человеку или человек кукурузе.

А. Леопольд

Его все равно люди, только рубашка другой.
Обмани понимай, сердись понимай, кругом понимай.

Дерсу Узала

Мне представилось, что иного начала быть не может, и первые фразы легли на бумагу:

«Уважаемый господин Вальдхайм!

О многом хотелось бы Вам написать, но думаю, что поток корреспонденций к Вам

слишком велик, и Вы заняты более важными и насущными проблемами человечества...»

Здесь рука моя остановилась, потому что объем письма надо было прикинуть и надо было сосредоточиться, понять, что лишнее, а что нужное,— словом, побеседовать с самим собой. Впрочем, беседую я сам с собой гораздо чаще, чем с кем-нибудь. Ведь я-то всегда при себе и могу задавать себе самые отчаянные вопросы. О чем?

Многое наболело, многое даже перестало болеть, а беспокоит только, как старый рубец, шрам на месте прежней раны. Рубцы, наверное, потому и не сходят совсем, чтобы напоминать человеку о его ошибках. Рубцы остаются как знаки памяти.

Совсем недавно я стоял на трамвайной остановке, а вокруг нее, обтекая полукругом, шла гудящая грузовая дорога. Было утро и, торопясь навстречу дню, рычали, взвывали, грохотали, ревели, неслись мимо нескончаемым стадом окутанные гарью рукотворные чудовища: ГАЗы, МАЗы, КрАЗы, БелАЗы, все эти «Татры» и «Магирусы», и щегольские «Волги», и надоедливо одинаковые «Жигули». Апрельское утро. Ночью прошел дождь. Почки тополей набухли в предвосхищении таинства рождения. Было чудное голубое небо, солнце над крышами, и было... нечем дышать от синей, тяжелой газовой вони, накатывающей волнами, так что спустя четверть часа я почувствовал дурноту, угар, веки мои дрожали, а сердце стучало, вопило мне: «Скорее! Прочь отсюда! Что ты стоишь?! Беги прочь! Воздуха! Свежего воздуха!»

Я ехал прочь, и мне вспомнился человек. Просто незнакомец, в мятой шляпе, с городским усталым и нездоровым лицом, он сидел на скамье под стандартной липой на улице не помню какого города — не все ли равно — Магнитогорска, Кавасаки, Чикаго — и, мор-

щась от пыли и газа, от запахов сгоревшей нефти и горячей резины, курил едкую, пряную, душистую сигарету. Кто он? Не знаю и не узнаю никогда, даже если встречу... Он похож на все человечество. Но я смотрел на этого человека и думал, зачем он так старательно, спокойно, с удовольствием портит свои легкие, готовит их язвы и каверны... В самом деле, зачем? Вот не докурил сигарету, достал новую и зажег ее от окурка... Снова блаженная ухмылка, ямы щек от затяжки, небрежно опадающий пепел... Человек доволен. Он отдыхает...

Мы с интересом читаем, как строятся новые заводы, как с их конвейеров ежесекундно выскакивает новенький автомобиль. Мы любуемся лайнером, когда он чертит небо белым росчерком, но мало думаем при этом, что лайнер стремительно жжет сотни тонн кислорода, созданного где-то на Амазонке, в Канаде или в Сибири еще не тронутыми пилой растениями...

Меня привлекли названия двух заметок. Одна о том, что в джунглях Амазонки кладут новые дороги, что каждый метр этих дорог дается чудовищным усилием, но все-таки люди побеждают, дебри расступаются, и скоро начнется их освоение.

Освоение. Почему-то всегда оно ассоциируется в моем слухе с ревом-скрежетом моторной пилы. С ее торжеством.

Другая заметка была совсем недавняя, в местной газете. Просто и ясно в ней говорилось, что совхозу «для увеличения поголовья скота на 25%» требуется новая земля под пастбища...

«Трудовой десант с промышленных предприятий города ведет сейчас вырубку и трелевку леса на участках, предназначенных под освоение. Всего в этот год предстоит освоить 400 гектаров. По подсчетам экономистов, затраты на освоение окупятся менее чем за 3 года»,— бодро заключала газета.

Окупятся. Читая, вспомнил, какое чувство вызывают эшелоны, словно сверх всякой нормы груженные спиленными где-то рощами и борами,— этим кругляшом, выкипающим на срезах янтарными слезами, этим желтым укладистым пиловочником, что и теперь еще именуется «лес», но лес уже бывший, канцелярски нареченный как «деловая древесина», пиловочник, брус, штакетник, горбыль, дрова, «двадцатка», «сороковка», «технологическая щепа» и так далее. Мелькают вагоны. Лес-лес. Лес-лес. Был-был. Был-был,— словно подтверждают колеса на стыках. Был-был! И опять я думаю про этот исчезнувший лес, представляю его опушки, чащи, болота, моховую синюю глушь, слышу птиц, которые жили там, вижу разное зверье — потаенно и счастливо обитало оно там, в своей краткой бесконечности, в своей исходной нужности среди деревьев, корней, цветов, думаю о всех этих бабочках, жучках-усачах и короедах, о бронзовых златках, о малых букашках, чьих имен, может быть, и не узнает никто никогда, знает разве какой-нибудь одинокий профессор-фанатик. И все-таки зачем-то они есть и были, миллиарды лет природа потратила на их сотворение, а теперь нет мира, стоявшего здесь от века, нет 400 гектаров леса.

Еще одна рана в легких Земли и человечества. Но заметна она, наверное, не больше ранки на живом человеческом легком от одной невидимой палочки Коха, так, легкий ожог, задымление от сигарет, что выкурил человек в шляпе на голубой от смога улице в Чикаго или в Магнитогорске.

Вот срубит четыреста гектаров «трудовой десант», на 25 процентов увеличится поголовье дышащих кислородом... Это ведь на три года. А на сколько же рассчитало себя человечество? Плохо, что я не математик, с детства не в ладах с математикой! Да полно! Я ли один? А человечество? Если бы все мы были хорошими математиками, давным-давно бы высчитали,

через сколько лет у нас уже ничего не останется для освоения, если каждые три года станем осваивать по 400 гектаров.

Задумайся, мой ровесник, как меняется жизнь на протяжении времени одного поколения. Двадцатые годы. Стада слонов и зебр в неисследованных областях Африки. Белые пятна на картах. Марки колоний с крокодилами и бегемотами. Тигры в диких джунглях Индии нападают на людей... Ни одного лайнера в небе. Диковинка — мотоцикл. Человек в автомобиле — чаще всего миллионер. О радио мечтают, как о всеобщем счастье. Телевизор? Что вы? Как это можно видеть по радио?

Что такое «Сатурн-5»? Водородный взрыв? Атомный реактор? И атомный ледокол? Лунная кабина? Спутник Марса? Искусственный? Вы шутите? Люди ходят по Луне. Это же Жюль Верн, Беляев...

Мы читали в детстве фантастические и нефантастические строки: «Господа, на Венере несомненно тропические леса, приблизительно такие, как у нас на Амазонке...», «Да, товарищи, цивилизация на Марсе несомненна...» И еще всюду и везде: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача!»

Переделать природу! Освоить! Повернуть реки вспять! Растопить льды! Начать наступление! Вперед! На природу!

Что же это? Уж не война ли?

Миллиарды лет природа сама переделывала себя. Она творила жизнь и воздвигала ледники, вновь растила леса и погребала их, словно тряпкой смахивая несовершенно написанное. Природа рождала удивительных животных и кошмарных чудовищ. Наконец, она произвела Человека и дала ему Землю, полную чистых лесов, прекрасных рек, округленную безмерностью океана, простором голубых незамутненных небес.

И Человек принялся за освоение природы. В поте

лица рубил леса, прокладывал дороги, перегораживал реки, стрелял животных (если бы только для еды!). Он никогда не ждал милостей и все переделывал и переделывал...

Вот что говорит в книге «Поймайте мне колобуса» известный всем Джеральд Даррелл:

«Дело в том, что по сей день большинство людей не осознают, до какой степени мы разоряем мир, в котором обитаем. Мы ведем себя словно малолетние недоумки, оставленные без присмотра в бесподобном, изумительном саду и медленно, но верно превращающие его в бесплодную пустыню с помощью ядов, пил, серпов и огнестрельного оружия. Вполне возможно, что за последние недели с лица Земли исчезло еще одно млекопитающее, еще одна птица, еще одна рептилия, еще одно растение. Я надеюсь, что это не так, но я точно знаю, что еще чьи-то дни уже сочтены.

Наш мир так же сложен и так же уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки, и дрогнут все остальные. А мы не просто касаемся паутины, мы оставляем в ней зияющие дыры, ведем, можно сказать, биологическую войну против окружающей среды. Без нужды сводим леса, создаем очаги пыльных бурь и ветровой эрозии, изменяя тем самым климат. Засоряем промышленными отходами, загрязняем море и атмосферу».

Года три назад я прочитал в солидной газете крупный заголовок: «Будущее тюменского леса». Какое же будущее пророчил автор тюменскому лесу? Вся статья сводилась к тому, как строить дороги в глубь тайги — рубить и вывозить... древесину.

Хочется воскликнуть: «О, газеты! Много добрых, умных, превосходных статей и заметок печатаете вы: «В мире природы», «С любовью к природе», «Как спасли лося», «Новый заповедник», «Природа и мы». И тут же рядом — бойкие информации разных корреспондентов, общая суть которых всегда в том, как некий охот-

ник, назовем его обобщенным именем Сидор Петрович Иванов из села Большая Липовка, на 200 процентов перевыполнил план добычи пушнины. Сдал на заготовительные пункты весьма довольным приемщикам столько-то соболей, куниц, лис и песцов. Сверх плана! Сверх нормы! Сверх...

Кстати, о лисах... Однажды я разговаривал с егерем. (Егерем в наши дни называется человек, который должен охранять живую природу. Но есть ли хоть одно училище, где готовят работников такой профессии? А если нет,— почему? Вдруг нашлись бы юноши и девушки, вдруг нашлись бы — пошли бы в егеря?)

Так вот, знакомый мне егерь, попахивая винным душком, рассказал мне с улыбкой, как хорошо он охотился «прошлый год» на лис в окрестностях... городской свалки: «Вот ведь какой случай был, знаешь... Сижу, это, я в закрадке, гляжу — лиса бежит со свалки и чо-то такое в зубах тащит. Ну, подпустил ее поближе, приложился... Хлесть! Готова! Лежит!.. Ближе подошел... Смеху-то! Пачку пельменей она нашла. Пельменей пачку... Шешнадцать лис прошлый год сдал. Премию получил... А нонче трех вот толькё. Не стало чо-то зверя...»

А я подумал: «Сколькё» сдал бы этот егерь, ничего не понимающий в жизни природы, за каждой лисьей шкуркой видящий только лишнюю бутылку, лишний рубль? Кормилось бы на свалке сто лис — сто убил бы, посмеиваясь.

Не от хорошей жизни бродит лесная лисица по городским свалкам, бежит из голодного, опустошенного такими охотниками леса к городу. И где, в каких сферах-конторах рождается сверхплановость на пушнину — сиречь на жизни прекрасных маленьких существ — детей природы и Земли, кому несчастьем обернулась теплая пышная шубка, созданная все той же заботливой матерью-природой. И еще подумал, кто

учитывает, сколько женщин в прекрасных дорогих собольих и лисьих шапках щеголяет по проспектам городов, в шапках, уже ни в каких планах не обозначенных, не учтенных, как невозможно учесть-уследить и этих «охотников-любителей», а проще сказать — грабителей безответной природы, всех тех, кому совесть и солнце заменяет радужная банковская бумажка.

«Редкие и исчезающие животные занесены в «Красную книгу»,— так сказано во всех изданиях по экологии, биологии, зоогеографии,— везде с горькими сетованиями: нет уже морской коровы, вымер дронт, истреблена квагга, а носорогов остались считанные единицы.

Горько мне, что нет морской коровы, все время ощущаешь нечто вроде вины своей за истребленную зебру-квагту, и за стада бывших бизонов, и за уничтоженного тарпана, и за бывшего странствующего голубя — вообще за все, что уже сотворено, к чему нет возврата... Хочется мне быть накрепко уверенным, что за кваггой не последуют другие чудно расписанные полосатые лошадки, что за коровой не придет очередь ныне модной на шапки нерпы. А вдруг еще изобретут какую-нибудь «нерпу на платформе»? Верю, из китобойных баз устроят прогулочные суда, чтобы смотреть и радоваться, как резвятся самые большие (а вдруг еще «самые умные»?!) обитатели планеты.

И вот, веря в это и сожалея обо всем, я захожу в самый лучший книжный магазин и спрашиваю у самой миловидной продавщицы, как бы вобравшей в себя все прелести живого мира природы: «Скажите, пожалуйста, есть у вас «Красная книга»?»

Глядя на меня, как на забавного сумасшедшего, подняв бабочкины усики бровей над голубыми обезьяньими веками прекрасных газельих глаз, продавщица говорит соловьиным голосом: «А з е л е н у ю вам не надо?»

Где ты, «Красная книга»?! Кто видел ее? Отзовитесь...

«Надо мне... Надо зеленую книгу»,— отвечаю продавщице и ухожу, бормоча: «Надо зеленую книгу... Чтобы все редкие цветочки, вымирающие орхидеи, все женьшени планеты знал и посетитель детского сада. Его ручонка первая тянется сорвать цветок, и ясный ум его первым поймет, что надо беречь пуще собственного глаза...»

Надо красную и зеленую книги! Всем. Каждой семье. Тогда пучки нежных венериных башмачков и зеленолистых ночных красавиц не продавали бы на углах темноликие любительницы тройного одеколона, не продавали бы и сон-траву, кстати, давно уже куда-то все-таки занесенную, обозначенную в числе вымирающих.

Белых аистов все меньше в Литве, в Польше, во Франции и в Голландии — вообще там, где испокон века ждали, как счастья, красноногую голенастую птицу, готовили ей на гнездо шест с тележным колесом. Аист приносит счастье! Счастье — это удача, изобилие, здоровье, верность, мир, дети... Итак, все меньше аистов. А как же насчет счастья? Почему каждому, прожившему на Земле дольше пяти лет, всегда чудится, что раньше он был счастливее? И почему все ждут счастья в будущем? Как быть с исчезновением аистов? Что поле без жаворонка? Что без зяблика лесная опушка? Что вообще мы без птиц? Без воробьев, без овсянок, без вьюрков, без щеглов, чижей и соек, без ворон и грачей, без скворцов и без буревестников?

> «Господин Вальдхайм! Я могу Вас заверить, что в Советском Союзе никто не стреляет аистов, не стреляет и не ловит, нанизывая затем на шнурок, малых певчих птичек. К сожалению, этих птичек, родившихся в России, стреляют и едят в прекрасной Италии

и не менее прекрасной Франции. Лукулл, как известно, жил где-то на побережье древнего лазурного моря, а один из героев Мопассана (рассказ «Ожерелье»), помнится, еще в прошлом веке копил франки, чтобы купить ружье и по воскресным дням охотиться на жаворонков...»

Есть, конечно, где-то пьяный голос, что на упрек за напрасно загубленную птицу тупо скажет: «А... чего она... летает!» Есть в итальянском трактире гурман, обливающийся слюной при одном воспоминании о блюде с жареными зябликами. Но аистов, скажут мне, аистов не стреляют никто и нигде. Почему же они исчезают?

Если бы я написал статью и назвал ее: «Болота — наше счастье»,— на меня посмотрели бы с сомнением и укором, с укором и сомнением. Болота? Называть счастьем все эти топи, мари, трясины, зыбуны? А комары? Москиты? Лихорадка?!

«Ядовитые испарения болот» — сплошь и рядом читаем мы в старинных романах. Недалекие и недальновидные всегда ненавидели и проклинали болота, эту «язву Земли». Что же ответить? Не от болот лихорадка — она распространяется от больных людей. Нет «язв Земли». На Земле все целесообразно и нужно, как нужен в человеческом организме даже объявленный ненужным аппендикс.

Нет «ядовитых испарений». Есть чистейшее, тонкое, целительное дыхание Земли. Чистейший пар, рождающий чистейшие облака, проливающиеся на Землю хрустальными дождями. Не осушать надо бы, не распахивать — оберегать и ценить болота едва ли не более, чем леса.

Ведь болота — хранилища влаги, ими регулярно и потаенно питаются реки, от них не снижается уровень почвенных вод. Болота — это дожди. Дожди — это хлеб,

трава, лес, питьевая вода и в конечном счете наше здоровье и наше благополучие. Исчезают леса, осушаются болота, меньше комаров, вымирают лягушки. Реже идут дожди и... не возвращаются аисты.

Когда думаешь о Земле целиком,— а сегодня все чаще приходится думать так, ведь у нас, людей, не только общая суша, пусть разделенная заставами и границами, но и единый на всех воздух, и единая на всех вода,— то часто почему-то вспоминается мне Южная Америка и великая река Амазонка с ее лесами, притоками и болотами.

«Амазонка снабжает весь мир одной третью кучевых облаков». А значит, и третью всех дождей, и третью всего кислорода, и третью пресных вод. Амазонка! О тебе я с благодарностью думаю, когда вижу прекрасные белые, нежные и позлащенные солнцем облачные громады, все эти паруса Земли столь неожиданные и чудные, что не хватило бы таланта и тысячи живописцев, которые всю жизнь писали бы одни небеса и облака. Я думаю об этом облаке, что родилось над многокилометровой гладью исполинской реки, над пальмовыми островами, над ее, к счастью, еще недоступными дебрями, над ягуарами, попугаями, бабочками, обезьянами и кувшинками в глубоких обширных заводях, где нежатся в теплой воде удивительные электрические рыбы. О, облако! Как хорошо, что ты несешь дождь нашим полям...

«Америка давно уже дышит за счет «чужого» кислорода». «Япония не может жить без «чужого» леса, угля, нефти». «Европа не в состоянии существовать без сибирского леса, канадской пшеницы и австралийского мяса». Таким заявлениям в газетах нет конца.

И как слабое утешение чей-то оптимистический возглас:

— Большую часть кислорода планете дает океан!

Пусть даже океан. Очень хорошо, что и океан.

Пусть он дает кислород. Ведь Земля «была рассчитана» на какое-то количество живого, дышащего этим кислородом, но... она «не была рассчитана» на миллиарды машин, для дыхания которых нужен тот же самый удивительный газ. Итак, слава океану, на него почему-то принято возлагать все надежды, точно люди в будущем готовы превратиться в дельфинов, питаться рыбой, жить в воде, а может быть, и, как рыбы, дышать жабрами. Вредные сказки хуже самой жестокой были. Любителей этих теорий подержать бы на жестком рационе из морской капусты и планктона, тогда, думаю, очень скоро стали бы мерещиться им в тревожных снах и наяву добротный борщ и бифштекс с жареной картошкой.

Если мы все-таки «осилим» и Амазонку, осушим «язвы Земли» и вырубим «проклятую сельву», так именуют некоторые путешественники тропический лес, этот «зеленый кошмар», этот «парной ад» — мы, человечество, получим еще одну Сахару, такую же точно: с бесплодными холмами, иссохшими каньонами, выветренной почвой, песками и горячими бурями. Известно, что изреженный лес превращается в саванну, что освоенная саванна превращается в засушливую степь, что освоенная степь постепенно превращается в полупустыню, полупустыня уже без всякого вмешательства человека превращается в полную пустыню, а вот пустыня не превращается уже ни во что, ибо для превращения ей нужна вода, а следовательно, лес и болото, которые бы воду копили и равномерно испаряли.

«Прописные истины!» — скажут мне знатоки и ученые с именем и степенью. А кое-кто и заспорит, степень к тому обязывает. Я лишь скажу — с радостью бы ошибся, ошибка доставит мне (и мне ли только?) огромное наслаждение, я буду ближе к счастью, если узнаю, что совсем не по этим причинам находят в пус-

тыне остатки мертвых городов, русла былых рек, следы былой жизни и что ливанские кедры на самом деле никогда не росли на голых и запеченных солнцем горах Ливана.

Если же мы даже просто вырубим, освоим леса на Амазонке, у человечества останется, наверное, только одно легкое — Сибирь, и, на сколько хватит его, покажет будущее, ведь гипотеза насчет кислорода от океана всего лишь заманчиво-прекрасная, но никем не доказанная пока гипотеза.

Недавно в текущей газетной озабоченности состоянием природы и отношением к ней мелькнуло дельное высказывание: будущее Земли находится в руках учителей биологии. «Категорично, однако почему бы не исследовать сию проблему?» — подумал я, и тотчас мне пришла шуточная, может быть, анкета-вопросник к любому учителю биологии: русскому, английскому, испанскому, немецкому, китайскому (не знаю, есть ли теперь в Китае учителя биологии). Итак, вопросы:

1. Читали ли вы (держали в руках) «Красную книгу»? (Да. Нет.)

2. Чем (хотя бы визуально) отличается серый сосновый дровосек от большого осинового скрипуна?

3. Кто такой лунный копр?

4. В каких местах Земли водятся страусы?

5. Где и какие есть двоякодышащие рыбы?

6. Есть ли живые кистеперые рыбы?

7. Сколько кислорода вырабатывает одна взрослая береза и один гектар хлебов?

8. Почему лягушек можно соотносить со словом «счастье»?

Последний вопрос, конечно, шуточный, а за остальные пусть меня простят дельные учителя биологии.

Любой из них на все вопросы ответит не задумываясь... Но что ответит учитель, который знает на память лишь схему кровообращения лягушки, развития гороха и устройство семядолей фасоли?

Ту учительницу, что преподавала у нас ботанику, мы дружно, всеобщно ненавидели. Я не побоюсь этого слова, мы ненавидели эту скучную, деревянную женщину словно бы с пластмассовым кукольным круглоглазым и круглощеким лицом, с неживым деревянным голосом. Мы ненавидели и ботанику со всеми этими зелеными эвгленами, чашелистиками, тычинками, пестиками и схемой-устройством цветка у семейства крестоцветных. На каждом уроке она говорила нам о пользе, о хоззначении технических и масличных культур, о севообороте, о клубеньковых бактериях на корнях бобовых. Она объясняла нам, что стебель растения может быть таким-то и таким-то, а корень растения мочковатым и стержневым. Я любил и люблю цветы, наши — уральские, люблю пальмы, орхидеи, кактусы. Всю жизнь бредил землями, где растут бананы и манго, бамбуки и ротанги, но мне люто хотелось сбежать с уроков о подсолнечниках и сортах капусты (нантская, брюссельская, кольраби), с уроков о хлорелле и хламидомонаде.

Я с тоской открывал учебник, авторы которого тоже как будто помешались на схемах строения, на пользе, на промышленном использовании и на сельскохозяйственном значении, нет, не цветов, не трав, не деревьев и кустарников — р а с т е н и й. В учебнике ботаники как будто не было ничего живого. С детства привыкнув к лебеде и крапиве, к лопухам, одуванчикам и пырею, к веселой гусиной травке, на которой так хорошо полежать, даже поваляться и подурачиться в теплое золотое июньское утро, привыкнув понимать и лебеду, и одуванчик как нечто живое, обоняемое, осязаемое, известное и на вкус, все со своим характером-на-

строением — мы никак не могли отождествить эти травы и цветы с засушенным понятием растение.

И даже в гербарных скучных листах та же озорная и отчаянная крапива была растением, плоским, матово-пыльным и безжизненным, как сама ботаника.

Ни у кого не было пятерки по ботанике, кроме девочки Лары, но Лара и не воспринималась нами как сверстница, ведь с первого класса, водимая в школу бабушкой, она была просто круглая отличница, и мы привыкли к тому, что она — круглая, и сама Лара со своим кукольным лицом и кукольным голосом вполне напоминала нашу Семядолю — простите, так мы дружно звали учительницу ботаники.

Учительница зоологии Васса Юрьевна напоминала толстую добрую лягушку. У нее были выпуклые, трудно глядевшие глаза — позднее я узнал, что это называется базедовой болезнью. Васса Юрьевна пыталась «привить» нам любовь к зоологии, но все эти благородные попытки вдребезги разбивались о скучнейшую программу, составленную в соответствии с не менее скучным учебником. Любой восторженный ценитель живого, любитель птичек, кошек, собак и хомячков с отвращением зевал и смотрел в окно на уроках о строении амебы, этих простейших (почему не назвали их скучнейшими?), напоминающих на рисунках кошмары художников-сюрреалистов. Туфельки-парамеции, инфузории и коловратки, а за ними шли своей чередой аскариды, печеночный сосальщик, свиной цепень, солитер и эхинококк.

Был нарисован в учебнике полуголый печальный мужчина с огромным животом и рядом такой же пузатый эхинококк, уставившийся не то глазом, не то присоской. Были в учебнике скучные коровы в разрезе, бычий желудок с этой самой «сеткой» и «книжкой», лягушки с вывороченными внутренностями, голубь с синими трахеями и кролик — тоже распоротый, раз-

резанный, несчастно глядящий живыми трагическими глазами и как бы вопрошающий: «Ну что вы со мной сделали?!»

Я знаю, что в результате опытов над животными были спасены многие человеческие жизни, но во мне, пусть индивидуально, все протестует, когда представляю себе эти опыты над обезьянами, собаками, кроликами. В конечном счете ни один экспериментатор никому не обеспечивал бессмертие, пересадив даже двадцать сердец, и я надеюсь, что опыты над живыми существами, пусть с самой гуманной целью, будут прекращены во имя торжества человечности. Сейчас я чувствую, как некий врач, учитель биологии, рядовой или в крупном чине, накинется на меня с криком: «Наука требует жертв! Науке нужен научный подход! Кто вы такой, чтобы критиковать веками сложившуюся систему?!» А может быть, эта «веками сложившаяся» уже помимо всего прочего примитивна в наше время кибернетики и бионики?..

Давайте «прививать любовь к живому», не вспарывая это живое на глазах бледнеющих и холодеющих от первородного ужаса. Давайте начнем с эстетики живого. Вспомним, как смотрятся фильмы об африканских, австралийских, американских и европейских животных, как восхищают свободные, дикие, резвящиеся, разнообразно прекрасные существа. Слон, что выходит из тумана на словно бы первобытной заре, антилопы, с грацией которых не могут сравниться даже сказочные красавицы, великолепие цветов, удивительные формы медуз, чарующая нежность пальм, устрашающая красота жуков, разноцветие коралловых рыб, допотопная нелепость носорогов... Ну а жирафы, попугаи, муравьеды, ленивцы, ящеры, бабочки, по размаху крыльев превышающие размах крыльев птиц?

Не начать ли урок с географии жизни?

Не снарядить ли «экспедицию» в амазонские джунгли за светящимися рыбками, на Малайские острова за летающими лягушками, на Мадагаскар за лемурами, в океан за глубоководными «дивами», за тунцами и рыбами-бабочками...

Может быть, сначала о прошлом Земли, о ее древних материках, о динозаврах, вымерших слонах, а потом уже о слонах настоящих, об акуле-молоте, о попугаях-ара, о коралловых островах, о морских черепахах. А уж потом — потихоньку — о печеночном сосальщике, аскариде и эхинококке... Да и так ли уж важен этот сосальщик? Много ли мы с ним встречались, если не стали специалистом-гельминтологом? Ничего мне не дал и эхинококк, разве что всякого пузатого, раздобревшего не в меру мужчину я теперь подозреваю и, наверное, незаслуженно...

Вывод прост. Нужен абсолютно новый учебник ботаники, зоологии, общей биологии. Яркий, большой, цветной, заинтересовывающий. Его должны бы написать трое: психолог (хороший психолог), биолог (отличный биолог) и писатель (очень хороший писатель), к примеру такой, как Джеральд Даррелл. И вот тогда в руках учителя биологии, наверное, и будет то будущее Земли, о котором шла речь выше, а пока это будущее в руках всякого разумного человека, всякого хорошего учителя, воспитателя, даже умной няни из обыкновенных яслей.

Я ехал однажды в тряском автобусе. Автобус шел с загородных улиц. Было тепло и солнечно. Воскресенье. И впереди меня сидела обыкновенная и, наверное, вполне счастливая семья. Семья — это мама, очень добротная женщина, из тех, кого называют цветущими и кого природа награждает неиссякаемым здоровьем, папа — посуше, но тоже очень обыкновенен, такие папы известны тем, что очень любят свою маму-жену, а также пиво, хоккей зимой и футбол летом и

мечтают со временем обзавестись машиной «Лада». На коленях у папы непоседливо ерзала прелестная (иного слова не найду) розовенькая девочка, круглолицая, чистенькая и ухоженная, обещающая со временем вполне повторить свою маму...

А еще рядом с семьей безуспешно билась о стекло, ползала по нему недоуменно тоже обыкновенная, в желтую полосочку, хлопотливая пчела. Пчела была до такой степени удивлена-раздосадована непонятной твердостью видимого ей пространства, что временами замирала и ощупывала голову лапками, очевидно, считая себя помешанной. Затем она снова принималась колотиться о стекло, жужжать и мучиться, чем наконец привлекла внимание папы, пребывавшего не то в пивных воскресных грезах, не то в мечтах о будущей «Ладе». Мужчина поднял кулак, собираясь попросту давнуть пчелу. Но девочка перехватила его намерение и закричала на весь автобус «садиковым» звонким голосом: «Что ты! Зачем ты? Это же пчелка! Она мед дает! Зачем ты ее?.. Ведь она хочет жить! — И рассудительно добавила: — Ты хочешь жить, и она хочет жить». И я поразился здравости суждения крохотного, еще, наверное, не осознавшего себя полностью на Земле существа. Занесенная рука опустилась. Пчела осталась в автобусе. И, наверное, все-таки нашла выход на волю, тем более что все форточки были открыты.

Может быть, не стоило рассказывать все это, но и сам я лишний раз понял, что у маленькой девочки была либо отличная няня-воспитательница, либо прекрасная мама, наделившая дочку простой любовью ко всему живому.

Любовь... Иногда мы и не замечаем многозначности и многозначимости этого понятия. Любовь к жизни, к яблоне, к сирийскому маленькому хомячку, трогательно глядевшему выпуклыми черными глазенками, любовь к ручной птичке, к коту и к птичьей стае в

синем поднебесье, и к облаку, улыбчиво светящемуся в своей доступной недоступности, и к грозовой туче, и цветущей вишне, и к снежинке в ее однократной исчезающей совершенности. А может, есть еще потаенная, всегда живущая в глубинах души любовь к ночной заре, к рекам на закате, к березовым рощам, к океанским ветрам и волнам... Что все это? И не этим ли словом «любовь» обозначено чувство к Земле и к жизни.

Один мудрый учитель из начальной школы повел свой класс в лес. На опушке он велел найти самую красивую маленькую ель, а когда после долгих споров и криков, радостных откровений и восхищенных открытий такую ему нашли, он достал из рюкзака заранее припасенный топор и замахнулся над елью. И дети взвизгнули, застыли, остолбенели... Тогда учитель улыбнулся, бросил топор и сказал, что в этой елочке заключена всего-навсего одна тетрадка. Ствола и веточек этой красавицы едва хватит, чтобы сделать одну тетрадь, стоимостью в две копейки. Он сказал еще, что, когда мы выбрасываем тетрадку, не дописав половину страниц, мы... Он сказал еще, что бумага — это живые деревья, отдавшие нам свое тело, свою душу, свою жизнь... А раз уж так — мы должны быть бережливы к каждой веточке... я хотел сказать, к каждой бумажной странице.

А теперь сознáюсь: я выдумал такого учителя и весь этот эпизод. Я просто представил такого учителя потому, что, к сожалению, перевелись мужчины-учителя в начальной школе, и еще потому, что много учителей таких, кто думает, что, если мы научили хорошо вычитать, умножать, складывать и делить, научили бойко читать и писать без помарок,— значит, мы уже вырастили человека...

Легче всего поучать. Труднее всего — учить... Кажется, еще ни в одной школе мира нет уроков доб-

роты. А может быть, стоит такой предмет ввести в программы? Везде. Во всех школах Земли. И подготовить таких учителей? Учитель добра? Учитель добру? Добрый учитель? Нет. Учитель добру... Всякий хороший и подлинный учитель — прежде всего учитель добру... Но сколько таких подлинных? Много или мало? — это я размышляю себе под нос, просто бормочу... Я не думаю, что шведская академия присудит мне Нобелевскую премию за мое откровение, и все-таки убеждаю себя, что учить доброте никогда не поздно, а лучше всего начинать пораньше — дети ведь самые отзывчивые и на обучение добру, и, к сожалению, на обучение злу. Последнее очень четко учитывал фашизм, когда создавал свои «югенды»...

Есть такое старинное слово «милосердие» (сердолюбие, сочувствие, любовь на деле, по определению словаря В. Даля). Слово это сейчас не в ходу. Мы привыкли числить его слащавым и евангельским. Стесняемся его, ищем против него высокое слово. А надо ли искать? Не с милосердия ли начинается любовь и человек, все настоящее, человеческое? Насколько нравственно, насколько милосердно пройти мимо замерзающей кошки? А это любовь, когда нахохленную умирающую птицу выбрасывают в форточку? А это справедливость, когда потерявшуюся, брошенную собаку волокут петлей оголтелые «санитары»?..

Любить животное можно по-разному: можно лишь любоваться им, здоровым и сильным, а можно и помогать ему со всем человеческим милосердием.

«Милосердие,— будто по этому случаю писал Джек Лондон,— это не кость, брошенная собаке. Милосердие — это кость, разделенная с собакой, когда ты сам голоден».

В одном городе организовали кружки юных охотников. Была такая директива об Обществе охраны

природы. Но если бы в Обществе больше думали именно о природе, то директива была бы, наверное, иная: «Организовать антиохотничьи кружки! Всемерно пропагандировать отказ от любительской охоты. Считать такую охоту на сегодня вредным, антиобщественным делом!»

Таких указаний пока еще нет. Я специально написал их канцелярскими словами. А вдруг они пригодятся, понадобятся, скажем, через десять лет, когда любителям со всеми их «зауэрами», «лепажами», «симсонами» и «тулками», со всеми их гончаками, пойнтерами, лайками — всем тем, что благородно и научно именуется «легавыми и подружейными» собаками, не останется стрелять ничего, кроме глиняных плошек на стенде.

В другом городе Общество охраны природы возглавил пенсионер, бывший председатель райисполкома, человек, с трудом отличающий грача от скворца, а уж грача от вороны не отличил бы никогда. И как тут не вспомнить Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник...»

Однажды зимой мне понадобилась чистая вода, желательно — мягкая и без примесей солей. Такую воду называют дождевой, а иногда и дистиллированной. Шел снег. Шел белый, радостный и обильный снег. И, радуясь ему, я понимал, что вот оно, решение моей проблемы. Я наберу ведро-другое этого белейшего снега, и у меня будет нужная мне чистая вода. Я не терял времени даром — вышел во двор, нагреб пуховой нежной благодати, от которой ломило пальцы и ладони и которую все-таки, несмотря на это, хотелось брать, комкать, рассматривать на ладони, как некое чудо. Здесь, в лесной стороне, за многие километры от города, снег белый, ослепительный. Я оставил ведро в комнате возле печи до утра, а утром увидел в нем воду сравнительно чистую, сравнительно потому, что

вся поверхность ее радужно отсвечивала какой-то мутью. Муть я убрал, процедив воду сквозь марлю, и мне захотелось попробовать, какова же на вкус эта в полном смысле небесная вода. Я поднес стакан ко рту — и, о ужас! — как вскрикивали герои старинных романов,— вода тошнотворно пахла химикатами и карболкой, от нее несло бензином и нефтью, сажей и горечью. Ее невозможно было пить.

Мой опыт прост, и я предлагаю проверить его всем неверующим.

> «Уважаемый господин Вальдхайм! — хочется мне продолжить письмо Генеральному секретарю ООН.— Не считаете ли Вы, что, поскольку воздух и вода принадлежат нам всем, нам, то есть землянам, жителям Земли, землякам,— всем людям, и всем животным, и всем растениям,— не считаете ли Вы, что бомбы, взорванные над Китаем, трубы, чадящие над Нью-Йорком или над Токио, заводы, оскверняющие чистоту воздуха и рек,— все это в большей или в меньшей степени преступление против человечества. И не пора ли спрашивать с хозяев на всей земле, так же ли они пекутся о чистоте воздуха и воды, как о здоровье своих детей?»

Писатель часто думает о Земле будущего. Думаю и я, и мне всегда хочется увидеть ее не совсем такой, как в романах и повестях фантастов. Слишком уж много голубого, чересчур звездолетов и космодромов. Фантасты точно сговорились выгнать человечество с Земли, угнать его в космические дали. Ну а как же все-таки быть с Землей, с теми, кто не хочет никуда лететь даже в самом современном звездолете? Итак, я решился стать фантастом и заглянуть в будущее Земли, не слишком далеко, скажем, лет на сто вперед. Я увидел ее в 2076 году, весной...

Земля была чиста и прекрасна. Чистый воздух лился отовсюду в окна кабины бесшумного инерционного самолета-планера. Мы летели низко, всего в полукилометре от полей, поселков, больших городов. По дорогам бежали цепочки машин, мчались стремительно поезда, и нигде не виднелось ни одной чадящей трубы, над дорогами не синел газовый выхлоп. Странные станции — в виде огромных теплиц — блестели на солнце крышами.

«Где вы берете энергию?» — спросил я у пилота.

«От солнца,— просто и спокойно отозвался он.— Еще лет семьдесят назад, в начале второго тысячелетия ученые всего мира объединились над решением проблемы преобразования света в электричество и нашли столь простое устройство, что сейчас мы отказались от всех атомных, термоядерных и тепловых станций. Солнце дает нам всю энергию, теперь в каждой крыше жилого дома имеется энергоблок, обеспечивающий все потребности жильцов, электрокрышками покрыты все заводы, у нас нет машин с двигателями внутреннего сгорания — они давно уже запрещены. Ученые работают над повышением энергоемкости световых батарей...»

«Откуда вы берете пищу?»

«Сельское хозяйство и кое-что от переработки древесины, угля, нефти, торфа. Все производство безотходное, на замкнутом водообороте. Ни один завод не разрешается к пуску, пока комиссия не установит его полную безвредность для окружающей среды».

«Природа? Животные?»

«Мы стараемся не вмешиваться в жизнь природы, а если вмешиваемся, то лишь в случаях чрезмерного размножения тех или иных видов. Но такое бывает редко. Мы установили с животными общение, разгадав их языки и сигнальные системы. Оказалось, животные давно понимают нас гораздо лучше, чем мы ду-

мали... Многие животные спросили нас: «Почему человек до сих пор был таким хищником»?»

«Леса?»

«Мы потребляем лишь строго высчитанную площадь лесов хозяйственного значения. Кроме того, мы восстановили большую часть лесов там, где они были вырублены. Сейчас мы засаживаем лесами пустыни, берега рек и морей. Общая площадь лесов увеличена вдвое, а в будущем их станет в три-четыре раза больше. Лес — это хлеб, дождь, урожай, продукты; смягчение климата, здоровье.»

«Может быть, вы — святые?» — спросил я недоверчиво.

Пилот усмехнулся.

«Почему же, проблем множество. Взять хотя бы элементарные: старение, болезни, потребности, проблемы воспитания, счастья, семьи...»

Мы летели над чистой, зеленой, спокойной Землей. Но ведь нетрудно увидеть Землю будущего и другой...

Она лежала в дымах и развалинах. Чадили и полыхали леса. Удушливый смрад тучами стелился над безжизненными, обгорелыми пустынями, зияли безводные каньоны рек, и равнодушно плескали, катились грязные океанские валы. Земля излучала радиацию, дым и жар, на ней не было ничего живого, а если и осталось, не было заметно.

Спросите каждого — такой Земли не хочет никто. Что же делать? А сделать можно много. Каждому, даже самому маленькому, даже самому старому. Посади дерево, сбереги цветок, защити животное, выходи сад, не погуби лес, не загрязни озеро, не плюй в колодец, думай, думай и думай каждый раз, как сделать, чтобы Земля стала чище, свежее, прекраснее, спокойнее, думай, если ты руководитель, думай, если ты учитель, думай, если ты ученик, думай и учи, если ты мудрый пожилой человек.

И опять вспомнились слова Дерсу Узала:

«Его са́мый главный люди,— ответил Дерсу, указывая на солнце.— Его пропади, кругом все пропади.— Он подождал с минуту и затем опять стал говорить.— Земля тоже люди. Голова его — там,— он указал на севе́ро-восток,— а ноги — туда,— он указал на юго-запад.»

Что, если бы каждый-каждый понимал и знал эту великую истину.

Земля — это люди. И относиться к ней можно только так, как относятся к самому близкому, живому, дорогому.

«Господин Вальдхайм! Вы объявляли «Год женщины», и все народы мира много сделали для того, чтобы женщина стала свободнее и прекраснее. Вот почему я обращаюсь к Вам: нельзя ли объявить «Год Чистой Земли»? А может быть, и целое десятилетие?

Вот, пожалуй, и вся моя просьба, впрочем, почему же моя, наверное, ее поддержат многие.

С искренним уважением и почтением
Николай Никонов, писатель».

СОДЕРЖАНИЕ

П27 **Перья жар-птицы. Рассказы о природе. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.**

128 с. с ил.

В сборник включены рассказы, зарисовки, наблюдения, публицистические заметки и размышления свердловских и тюменских писателей и журналистов: Е. Бородина, Г. Бабакова, С. Марченко, Р. Лыкосовой, Н. Никонова, Б. Рябинина и других,— об окружающей нас природе и проблемах, связанных с ее охраной.

Книга адресуется школьникам среднего и старшего возраста.

П $\frac{70803-079}{М158(03)-78}$ Сб2

✦

ИБ № 532

ПЕРЬЯ ЖАР-ПТИЦЫ

Редактор Н. И. Трубникова. Художник В. К. Бубенщиков. Художественный редактор Я. И. Черняхов. Технический редактор Н. Н. Звузолкова. Корректоры Г. М. Смирнова, И. П. Кирсанова. Сдано в набор 19/I 1978 г. Подписано в печать 18/V 1978 г. НС 12109. Бумага типогр. № 2. Формат 70×108[1]/32. Уч.-изд. л. 5,6. Усл. печ. л. 5,6. Тираж 75000. Заказ 47. Цена 20 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.



